

VISIT...

LANZAROTE
Caliente.COM

Уильям ГОЛДИНГ

Уильям Голдинг — человек, без которого европейская литература XX века просто не существовала бы в той форме, какую она приняла теперь. Писатель, создавший «Повелителя мух», «Шпиль», «Наследников». Писатель, чьи произведения отмечены множеством литературных премий, среди которых — Нобелевская (1983). Писатель, чьи притчи изысканно-холодны — и в холодной своей изысканности способны обжечь, как лед.

Три новеллы, которые объединил в сборник сам автор, считавший их концептуально связанными.

Три увлекательных внешне — и бесконечно многогранных на более глубинном уровне произведения.

В них сочетаются притчевость и историзм, злая ирония социальной сатиры, тонкость отсылок к интеллектуальной фантастике и философская глубина.

Куда бы ни занес нас причудливый гений Голдинга — в первобытную ли Африку, в Египет ли древнейших времен, в Рим ли эпохи упадка — нам вместе с персонажами предстоит стать свидетелями и участниками необычных, фантазмагорических событий...

www.elkniga.ru

ISBN 978-5-17-071335-6



9 785170 713356

■ КНИГА НА ВСЕ ВРЕМЕНА ■

Бог-скорпион



Уильям ГОЛДИНГ



Уильям ГОЛДИНГ

Бог-скорпион

КНИГА
НА ВСЕ
ВРЕМЕНА

Уильям ГОЛДИНГ

Бог-скорпион

Клонк-клонк

Чрезвычайный посол



ас
ИЗДАТЕЛЬСТВО
Астрель
МОСКВА

УДК 821.111
ББК 84 (4Вел)
Г60

Серия «Книга на все времена»

William Golding
THE SCORPION GOD:
The scorpion god
Clonk clonk
Envoy Extraordinary

Перевод с английского
В.Г. Минушина («Бог-скорпион», «Клонк-клонк»),
Ю.А. Здорова («Чрезвычайный посол»)

Компьютерный дизайн Е.А. Коляда

Печатается с разрешения издательства Faber and Faber Limited
и литературного агентства Andrew Nurnberg.

Подписано в печать 24.03.11. Формат 84х108 1/32.
Усл. печ. л. 16,8. Тираж 3000 экз. Заказ № 765

Голдинг, У.

Г60 Бог-скорпион. Клонк-клонк. Чрезвычайный посол : [новеллы;
пер. с англ.] / Уильям Голдинг. — М.: АСТ: Астрель, 2011. —
315, [5] с. — (Книга на все времена).

ISBN 978-5-17-071335-6 (ООО «Изд-во АСТ»)

ISBN 978-5-271-34969-0 (ООО «Изд-во Астрель»)

Три новеллы, которые объединил в сборник сам автор, считавший их концептуально связанными.

Три увлекательных внешне — и бесконечно многогранных на более глубинном уровне произведения.

В них сочетаются притчевость и историзм, злая ирония социальной сатиры, тонкость отсылок к интеллектуальной фантастике и философская глубина.

Куда бы ни занес нас причудливый гений Голдинга — в первобытную ли Африку, в Египет ли древнейших времен, в Рим ли эпохи упадка — нам вместе с персонажами предстоит стать свидетелями и участниками необычных, фантазмагорических событий...

УДК 821.111
ББК 84 (4Вел)

© William Golding, 1971

© Перевод. В.Г. Минушин, 2011

© Перевод. Ю.А. Здорова, 2011

© Издание на русском языке AST Publishers, 2011

Бог-скорпион

Ни трещины не было в небе, ни изъяна в густо-синей эмали. Даже солнце, плывущее в зените, лишь оплавляло ее вблизи себя, и по небосводу текли и смешивались ультрамарин и золото. Подобно лавине обрушивались с этого неба пылающие зной и свет, заставляя все живое, что находилось между двумя длинными скалами, замереть в неподвижности, как сами скалы.

Река лежала застывшая, тусклая, безжизненная. Лишь легкий пар поднимался над водой — единственным намеком на движение. Стаи речных птиц на берегу, на шестиграниках ссохшегося, растрескавшегося ила, бессмысленно таращили бусинки глаз. Заросли сухого папируса — кое-где прочерченные сломанным и накренившимся стеблем — стояли неподвижной стеной, как тростник на росписях в гробницах; лишь вздрагивали иногда сухие венчики, просыпая семена; и там, где семя падало на отмель, там оно и оставалось, не под-

хваченное течением или ветром. Но далеко от берега широкая, в несколько миль река была глубокой; там солнце так же слало вниз палящие лучи и так же плавило синюю эмаль отраженного небосвода, повторявшего густую синеву купола над красными и желтыми скалами. И теперь, словно выносить два солнца было выше их сил, скалы наполовину прикрылись дрожащей завесой марева.

Черная жирная земля между скалами и рекой была иссушена зноем. Стерня и застрявшие в ней там и тут птичьи перья, казалось, лишены были жизни. Редкие деревья: пальмы и акации, словно вконец отчаявшись, поникли листвой. Немногим больше было жизни в беленых глинобитных лачугах, что так же, как деревья, застыли в неподвижности; застыли, как мужчины, женщины и дети, которые выстроились по обеим сторонам убитой глинистой дороги, шедшей вдоль реки. Люди стояли, повернув головы к реке и отвернувшись от солнца, которое отбрасывало им под ноги короткие тени цвета кобальта. Они стояли на своих тенях и, прижав к груди согнутые в локтях руки, смотрели вдоль реки, не моргая, приоткрыв рты.

Издалека донесся слабый шум. Мужчины переглянулись, вытерли о льняные юбочки потные ладони и подняли их вверх. Ребятишки, разгуливавшие голышом, зашумели, устроили беготню, но женщины в длинных белых холщовых одеждах, перехваченных над грудью, живо шлепками заставили их уgomониться.

На дороге возник человек, появившийся из тени пальмовой рощицы. Как и скалы, его движущаяся фигура дрожала в струях горячего воздуха. Даже издали его легко было отличить от столпившихся у дороги людей — по необычности одеяния и тому, что все смотрели на него. Человек достиг открытого места, где дорога шла по жнивью, и теперь можно было видеть, что он бежит, бежит мелкой трусцой, медленно переставляя ноги, а народ по сторонам размахивает руками, кричит, хлопает в ладоши и провожает его взглядами. Человек приближался, и теперь глаз различал не только необычность того, что он делает, но и его необычный наряд. На нем были юбочка и высокий головной убор, то и другое из белого полотна. Его сандалии, запястья и болтавшийся на груди широкий пектораль сияли золотом и синей эмалью, как и жезл и плеть в руках. Его тело

блестело, покрытое потом, который градом капил с него и капал на дорогу. Видя, как капли падают на потрескавшуюся землю, люди кричали еще громче. Те, мимо чьего поля он пробегал, присоединялись к нему, но, едва поле кончалось, замедляли шаг и останавливались, утирая взмокший лоб.

Уже бегущий настолько приблизился, что можно было его рассмотреть. Когда-то округлое, лицо его от жизни в роскоши и привычки повелевать стало тяжелым, квадратным, под стать коренастому телу. У него был вид человека, которого не часто посещают мысли, но если таковое случается, сомнению они не подлежат; и сейчас его единственной мыслью было: бежать, бежать не останавливаясь. Но кроме этой, главной, мысли были и другие, мелкие, вызванные недоумением и раздражением. Для раздражения была достаточная причина — головной убор то и дело сползал на один глаз, и бегущий поправлял его крючковатым жезлом. Хвосты плети, набранные из шариков, золотых и синей эмали, били по лицу, если он слишком высоко поднимал руку на бегу. Время от времени, как бы спохватываясь, он опускал скрещенные жезл и плеть на уровень живота, ибо пра-

вила ритуального бега предписывали тереть их один о другой, как при точке ножа. Это, да вдобавок осаждавшие его рои мух, вполне объясняло его раздражение, а вот причину недоумения понять было несколько труднее. Он бежал через поле, глухо стуча пятками по глине, и теперь его сопровождал только один человек — поджарый и мускулистый юноша, который кричал ему, подбадривая, умоляя, восхваляя одновременно:

— Беги, Высокий Дом! Ради меня беги! Ради жизни! Ради здоровья! Силы!

Добежав до края поля, они как будто пересекли невидимую границу. Люди, толпившиеся впереди у нескольких домишек, двинулись им навстречу с криками: «Бог! Бог! Высокий Дом!»

Их вдруг охватило такое же возбуждение, как юношу, что сопровождал бегуна. Они встретили бегущего воплями и слезами радости. Женщины бросались ему наперерез, позабыв о детях, потерявшихся среди мелькания быстрых темных ног. Он медленно бежал по узкой улочке, и мужчины присоединялись к нему. Тут же стоял слепой старик, тощий и скрюченный, как посох, на который он опирался, стоял, подняв руку и повернув голову к бегущему, выкатив мутные,

словно кварцевые, белки; и, слепой, он кричал со всеми:

— Жизнь! Здоровье! Силу! Высокий Дом! Высокий Дом! Высокий Дом!

Вскоре бегун, увлекая за собой юношу, оставил позади очередную деревушку; а женщины все смеялись и кричали друг дружке:

— Ты видала, сестра? Я дотронулась до Него!

Высокий Дом все так же бежал вперед и все так же поправлял жезлом неудобную шапку с непреходящим раздражением и, если уж на то пошло, недоумевая больше прежнего. Теперь к нему присоединялось мало людей, когда он пробегал по деревне, да и те, едва деревня кончалась, тут же отставали, все, кроме худощавого юноши. Они останавливались, задыхающиеся, но с улыбками на лицах, а Высокий Дом и его спутник бежали дальше, только подпрыгивали завязанные узлом концы царской юбочки. В наступившей тишине слышались лишь удалявшиеся тяжелое дыхание и глухой топот ног. Мужчины брели назад в деревню, где их ждали расставленные на грубых столах посреди улицы кувшины и кружки с густым пивом.

Когда топот бегущего окончательно затих вдали, слепой, который еще долго стоял у до-

роги, опустил руку. Он не присоединился к деревенской толпе, но повернулся и, нащупывая палкой дорогу, направился по жнивью, а потом сквозь густые кусты к реке, выбрался на чистое место под пальмами, где илистая почва не была в шестигранниках трещин. Здесь в тени пальм сидел мальчик — ноги скрещены, руки безвольно лежат на бедрах, голова опущена, отчего единственная прядь волос, оставленная на его голове бритвой, свесилась до колена. Он был худ, как и слепой старик, хотя не столь темнокож; и его юбочка была ослепительно белой, не считая следов, оставленных прибрежной лозой и пылью.

Слепой сказал в пространство перед собой:

— Все. Они уже далеко. Теперь мы этого не увидим еще семь лет.

Мальчик безразлично ответил:

— Я не ходил смотреть.

— С ним бежал юноша, тот, которого прозвали Болтуном. Он ни на минуту не закрывал рта.

Мальчик встrepенулcя:

— Надо было сказать об этом раньше.

— Зачем?

— Тогда я пришел бы посмотреть.

— Разве Болтун твой отец, а не Бог?

— Я люблю Болтуна. Он рассказывает такие сказки, от которых небо становится неведомым. И он живет.

— Он — что?

Мальчик раскинул руки.

— Он просто живет.

Слепой опустил на землю и положил палку на колени.

— Сегодня великий день, принц. Ты, верно, это знаешь?

— Няньки рассказали мне, потому я и убежал. Великий день... Это значит, что надо стоять на солнце и при этом не шевелиться. Я после всегда болею. И еще, надо подымать столбы дыма, произносить всякие слова. Есть, что велит ритуал, надевать, что велит ритуал, пить, что велит ритуал.

— Это так. Но что с того? Твои шаги звучат как шаги маленького старичка. Но сегодня Бог покажет, что Он всесилен, и, может быть, тебе тоже станет лучше.

— Как Он это покажет?

Слепой на миг задумался.

— Если речь идет об этом, то как Он может поддерживать небо и подымать воду в реке? Но

Он это делает. Небо всегда у нас над головой; а вода в реке вновь подымается, как прежде. Это чудо.

Принц вздохнул:

— Я устал от чудес.

— Мы живы благодаря чудесам, — сказал слепой. — Я покажу тебе кое-что. Видишь пальму слева от тебя?

— Солнце слепит, не могу смотреть.

— Ну ладно. Но если мог бы, то увидел бы зарубки на стволе. Нижняя, на ладонь от земли, — это Отметка Скорби. Если вода не подымалась выше, людям приходилось голодать. Сколько тебе лет? Десять? Одиннадцать? Такое случилось, когда мне было немногим больше, и Бог, который царствовал тогда, выпил яд.

— Люди голодали? И умирали?

— Да. Мужчины, женщины, дети. Но Бог могуч, Он великий любовник, — хотя у него всего двое детей, твоя сестра и ты, — великий охотник, великий чревоугодник и великий бражник. Вода постепенно достигнет Отметки Доброй Еды.

Не обращая внимания на солнце, принц с интересом посмотрел на дерево.

— А на макушке — что это за Отметка?

Старик тревожно покачал головой:

— Однажды, не могу сказать когда, было пророчество, что вода подыметсЯ так высоко. Рассказывают, Отметка была сделана Богом, но вода никогда еще не доходила до нее. Слишком много — хуже, чем мало. Вода затопит весь мир и будет плескаться у ступеней Дома Жизни. Эта Отметка, — он наклонился и понизил голос, — называется Отметкой Конца.

Принц выслушал его молча, и слепой чуть погодя ошупью нашел его ногу и похлопал по колену.

— Ты этого еще не понимаешь. Но ничего. Однажды, когда меня не станет и Бог вступит в вечное Сейчас в Доме Жизни, ты сам станешь Богом. Тогда и поймешь.

Принц поднял голову и выкрикнул отчаянно и упрямо:

— Не хочу быть Богом!

— Что это такое? Кто тут так кричит?

Принц беспомощно колотил кулачками по сухой земле:

— Не буду Богом! Не заставят они меня!

— Тише, дитя! А если б тебя слышали — ты обо мне подумал?

Но принц впери́лся в бельма слепца, словно мог его заставить видеть:

— Не буду... не могу. Не могу я сделать так, чтобы река разливалась, или поддерживать небесный свод... мне все снится... тьма вокруг. Все рушится. Я погребен — ни пошевелиться, ни вздохнуть...

Слезы ползли по щекам принца. Он хлюпал носом и утирался грязной рукой.

— Не хочу быть Богом!

Старик заговорил громко и строго, словно пытаюсь заставить принца опомниться:

— Когда женишься на принцессе, твоей сестре...

— Не собираюсь жениться, никогда, — неожиданно взорвался принц. — Нет, никогда. Особенно на Прекрасном Цветке. Если играешь с мальчишками, это всегда — охота, а я устаю бегать. Девочки только и хотят, что играть в мужа и жену: я должен ерзать на них и тоже устаю, тогда они сами это проделывают, пока у меня не начинается все плыть перед глазами.

Слепой помолчал.

— М-да, — выдавил он наконец. — М-да.

— Хотел бы я быть девочкой, — сказал принц. — Красивой девочкой, у которой нет

других забот, как краситься да носить красивую одежду. Тогда меня не смогли бы превратить в Бога.

Слепой почесал нос:

— Ни поддерживать небесный свод? Ни заставлять воду в реке подыматься? Ни убивать жертвенного быка, ни поражать мишень?

— Какое поразить — я различить не могу, где мишень...

— Что это значит, дитя?

— Глаза словно белый туман застилает.

— Принц, ты говоришь правду?

— И этот туман все сгущается. Медленно, но сгущается.

— О нет!

— Теперь ты понимаешь...

— Но, бедный принц, — они-то что говорят?

— Я никому не рассказывал. Я устал от заклинаний, воскурений и гадости, которую приходится пить.

Голос слепого зазвенел от волнения:

— Но ты ослепнешь! Год от году будешь видеть хуже и хуже, дитя. Подумай об Отметке Конца!..

— Какое мне дело до нее? Если бы только я был девочкой...

Слепой топтался на месте, тыча палкой в пыль.

— Они должны узнать. Он должен немедленно узнать... Бедный принц. Бедный народ!

Принц ухватился за лодыжку слепого, который от неожиданности отпрянул в сторону, и неуклюже поднялся на ноги.

— Никому не рассказывай!

— Бедное дитя! Я обязан это сделать. Тебя вылечат...

— Нет!

— Когда Бог будет заканчивать свой бег, я крикну ему об этом. Он услышит меня!

— Я не хочу становиться Богом!

Но слепой уже спешил прочь, привычно постукивая палкой по стволам, уверенно ступая по узким тропинкам между пересохшими оросительными каналами. Принц бежал за ним, заскакивая то с одной, то с другой стороны, плача, уговаривая, хватая за набедренную повязку. Но слепой шел не останавливаясь, отстраняя мальчика палкой, качая головой и бормоча:

— Бедное дитя! Бедное дитя!

Наконец принц, запыхавшийся, ничего не видящий от слез и слепящего солнца, отстал,

прошел, волоча ноги, еще несколько шагов и остановился. Он упал на колени в дорожную пыль и продолжал, продолжал плакать. Выплакавшись, он какое-то время еще оставался в той же позе, поникнув головой; потом вдруг заговорил, повторяя одно и то же, словно проверяя, насколько убедительно звучат его слова или насколько хорошо он их запомнил:

— Не знаю, что он такое говорит. Я хорошо вижу обоими глазами.

И вновь, повторяя, видно, то, что слышал в коридорах Высокого Дома:

— Этот человек не в своем уме.

Или просто:

— Я — принц. Этот человек лжет.

Он поднялся с колен. Щурясь от яркого солнца, пошел, стараясь держаться в тени деревьев и продолжая твердить, как урок: «Этот человек лжет. Лжет».

Вскоре его подхватил и закружил вихрь мельтешащих юбок, оглушили аханья и причитания. Это две няньки, черная и коричневая, завидев его, устремились навстречу, как две наседки. Они хлопотали вокруг него, прижимали к груди, плача и жуя, заклиная и увещевая, ласкали и тискали. Потом они отвели его в Высокий

Дом, усадили и, не переставая обнимать и целовать, почистили юбочку, а он задыхался среди их любвеобильных и потных грудей и пухлых рук. Ему говорили, как дурно он поступил, притворясь спящим; они-то, поверив, выскользнули, чтобы посмотреть на Бога, а потом обыскались его; и он не должен никому ничего рассказывать; и как он жестоко поступил со своими няньками, которые только и думают, что о его благополучии. Они отвели его под руки к боковому входу, ввели внутрь и в последний раз торопливо оглядели, все ли в порядке. Он вряд ли слышал, что они твердили об опасностях, подстерегавших его за стенами Высокого Дома: о крокодилах, речных чудищах, львах, шакалах, грязных стариках, поскольку то и дело бормотал себе под нос, не обращая на них внимания: «Он лжет».

Наконец, пройдя насквозь Высокий Дом, они вышли во двор перед главными воротами. Несмотря на то что был день, когда Богу предстояло доказать свое могущество, во дворе было малоллюдно. Но снаружи, у ворот, по обеим сторонам дороги стояли солдаты — чернокожие гиганты с огромными щитами и копьями, сдерживая людей из речной долины, которые тес-

нились за их спинами. Возвестив всеобщим воплем о том, что Бог начал свой бег, теперь толпа глухо гудела. Люди в толпе уже утолили любопытство, даже Прекрасный Цветок, которая стояла впереди сопровождавших ее рабынь на помосте у ворот, не привлекала их. Они устали смотреть в проход, образованный двумя шеренгами солдат, и на дорогу, идущую под скалами, на которой должен был показаться Бог. Трубы не трубили. Прекрасный Цветок хотя и была живописна, но стояла как статуя. Бога было не видеть, и нужно было что-то, что могло занять их, так что принц появился как нельзя кстати. Он возник в глубине переднего двора, на ступеньках, что вели вниз от ворот к Высокому Дому. Он шел между массивными, покрытыми росписью колоннами, сопровождаемый по бокам двумя толстыми няньками. На его плоеной юбочке не было ни пятнышка, золотые застёжки сандалий сияли. И так же сияли ожерелье на шее и браслеты на запястьях. Парик, спускавшийся на плечи, был расчесан и умащен маслом так, что казался вырезанным из эбенового дерева. На губах принца играла легкая улыбка, с которой он обычно появлялся на людях, и, когда женщины в толпе

закричали, как он хорош и мил, улыбка его стала шире, показывая неподдельное удовольствие. Подойдя к помосту, он остановился, бросил украдкой взгляд на Прекрасный Цветок, прежде чем ее лицо скрылось за опахалами, и склонился в низком поклоне. С помощью нянек он поднялся на помост и встал там, щурясь от слепящего солнца. Прекрасный Цветок наклонилась к нему плавно, как тростинка под легким ветерком. Она сменила улыбку на другую, светящуюся любовью, коснулась его щеки тыльной стороной ладони — жестом, который был воплощением женственности, и прошептала:

— Ты плакал, крысеныш.

Принц устался на свои сандалии.

Толпа заволновалась, зашумела. Принц поднял голову, а Прекрасный Цветок шагнула к краю помоста, увлекая его за собой. Сзади им сунули пальмовые ветви. Вместе со всеми они устремили взгляд на дорогу.

Выше по течению реки, едва различимый глазом, виднелся выступ у основания скалы. На нем стояло вытянутое низкое строение, и сейчас у одного его угла появилась крохотная фигурка. Тут же рядом с ней возникла другая. Их было трудно разглядеть; дрожащее марево

искажало движения крохотных фигурок, меняло их очертания, а то и вовсе растворяло без следа. Внезапно толпа по обе стороны прохода превратилась в зеленую заросль, живую изгородь, пальмовую рощу, колышущую ветвями под сильным ветром. Взвыли трубы.

«Жизнь! Здоровье! Сила!»

Впереди бежал не Бог. Это был Болтун, поджарый юноша, который время от времени замедлял шаг, поджидая Бога, и кружил вокруг него, подбадривая отчаянными жестами. Он блестел от пота, но был полон сил и не умолкал ни на миг. Позади тащился Бог, Высокий Дом, Супруг Царицы, вступившей в вечное Сейчас, Царственный Бык, Сокол, Владыка Верхнего Египта. Он с трудом перебирал ногами, и по резким движениям, какими точил свой мясницкий нож, видно было, что он бежит из последних сил. Пот градом катился по нему, юбочка прилипла к бедрам. Теперь уже марево и слепящее солнце не мешали его рассмотреть. Белая шапка сползла ему на глаза, и он больше не поправлял ее жезлом и плетью. Даже узел его юбочки казался измученным и дергался, как хвост издыхающего животного. Его шатнуло к обочине. Болтун крикнул:

— О нет!

Ужас отразился на лице бегуна, ужас прозвучал в вопле толпы:

— Высокий Дом! Высокий Дом!

Даже солдаты, в волнении сломав строй, смотрели в его сторону. Принц заметил между солдатами знакомую фигуру. Слепой стоял подняв лицо, выставив палку. Бог бежал по проходу, и толпа смыкалась позади него. Слепой надсадно кричал, но за воплями толпы слов его не было слышно. Бог зашатался, загребая ногами пыль, его колени начали подгибаться, рот раскрылся еще шире, глаза ничего не видели. Споткнувшись о палку слепого, он уронил руки, его ноги подкосились. Глядя перед собой, он упал на палку, прокатился по земле и замер. Белая льняная шапка отлетела в сторону.

Во внезапно наступившей тишине ясно прозвучал голос слепого:

— Бог, принц слепнет! Твой сын слепнет!

Принц безнадежным жестом простер руку к Прекрасному Цветку, которая продолжала улыбаться, и выкрикнул затверженное:

— Он лжет!

— Принц слепнет!

Прекрасный Цветок сказала отчетливо, спокойно:

— Разумеется, он лжет, дорогой. Солдаты, в яму его.

Солдаты, расшвыривая людей, расчищали место вокруг упавшего Бога и склонившегося над ним Болтуна. Бурлящая толпа окружила слепого, который был как беспомощная игрушка в людском водовороте, как кричащая кукла. Прекрасный Цветок сказала, перекрывая гвалт:

— Он подставил палку, чтобы Бог споткнулся.

Несколько солдат врезались в толпу. Пробившись к старику, они окружили его и увели. Прекрасный Цветок взяла принца за запястье, тряхнула и проговорила, не поворачивая головы, уголком рта:

— Улыбайся.

— Он лжет, поверь мне!

— Дурачок, улыбайся.

Принц улыбался, а слезы бежали по его лицу, когда она влекла его с помоста и дальше, в главные ворота, стараясь сохранять величественность поступи. Часть солдат расчищала им дорогу, часть несла Бога. Прекрасный Цветок, сопровождаемая рабынями, поспеши-

ла передать принца нянькам во внутренних покоях, спрятать от всех его и его слезы. Затем и сама скрылась со своей свитой.

В переднем дворе Бога уже встречали, словно заранее готовились к тому, что произошло. Шестеро солдат несли носилки. Одного из встречавших украшала шкура леопарда, другого — если только это был человек — голова шакала. Впереди шагал высокий человек в длинном белом льняном одеянии, много старше Высокого Дома. Бритый его череп блестел на солнце. Болтун сразу подскочил к нему и трещал не умолкая.

— Ужасно, ужасно, Верховный, — и так некстати. Я имею в виду то, что случилось, — ужасно! Как вы узнали? Как догадались?

Верховный жрец улыбнулся:

— Это можно было предположить.

— Помни, мне ничего не нужно в награду — совсем ничего!

Верховный милостиво улыбнулся:

— Пошли, мой дорогой Болтун. Ты недооцениваешь себя.

Болтун подскочил, словно солдат кольнул его копьем.

— О нет, нет! Верь мне, я больше ничем не могу помочь!

Бог лежал на носилках. Процессия направлялась к Высокому Дому. Верховный смотрел ей вслед.

— Он хочет слушать твои небылицы снова и снова.

Болтун остановил его у входа, поймав за край одежды.

— Он так часто их слышит, что мог бы запомнить наизусть, — а не то позвал бы кого-нибудь, пусть ему изобразят их на стене!

Старик бросил на него взгляд через плечо:

— Не об этом Он говорил вчера.

— Уверяю тебя, я в самом деле совершенно ему не нужен!

Старик повернулся к Болтуну, глянул сверху вниз и положил руку ему на плечо.

— Скажи мне, Болтун, утоли мое любопытство: почему ты отказываешься от жизни?

Но юноша не слушал его. Он вглядывался поверх его плеча в глубину Высокого Дома.

— Он ведь повторит, правда?

— Повторит — что?

— Свой бег! Ему же подставили палку. Он побежит снова, да?

Старик оглядел его с профессиональным интересом.

— Не думаю, — мягко сказал он. — По правде говоря, я уверен, что больше он не побежит.

Он повернулся и направился к Высокому Дому. Болтун остался стоять на ступеньках — его била дрожь, губы прыгали на побелевшем лице.

Большую часть вины за случившееся Прекрасный Цветок отнесла на долю принца. Как только они скрылись в относительном уединении Высокого Дома, она прогнала его пощечиной — чего он и ожидал, — оплатив за волнения, испытанные на помосте. Едва солнце село, он в слезах отправился спать.

От Болтуна избавиться было не так легко. Он перехватил ее в темном коридоре и стиснул ей запястья.

— Не хватай меня!

— Я пока не хватаю, — зашептал он. — У тебя все мысли об одном, можешь ты думать о чем-нибудь еще?

— После того, что ты сделал...

— Я сделал? Ты хочешь сказать, мы сделали!

— Я не думаю об этом...

— Лучше и не думай. Чтобы удалось то, что тебе предстоит. Вот о чем лучше думай!

Она тяжело упала ему на грудь.

— Я так устала... совсем запуталась... мне хочется... не знаю, чего мне хочется.

Он легко похлопал ее по плечу:

— Ну-ну! Полно!

— Ты дрожишь.

— Что ж мне не дрожать? Мне грозит смертельная опасность — и раньше было опасно, но сейчас особенно. Так что лучше бы тебе все удалось. Понимаешь?

Она выпрямилась и отступила на шаг.

— Ты хочешь, чтобы я была соблазнительной? Да?

— Соблазнительной? Нет, то есть да! Как ты выражаешься: соблазнительной. Будь очень соблазнительной.

Она пошла прочь, медленно и величаво.

— Что ж, будь по-твоему.

Вслед ей по темному коридору полетел шепот:

— Ради меня!

Она зябко поежилась в горячей духоте коридора и отвела глаза от смутно вырисовывавшихся фигур на высоких стенах. Навстречу ей

рос шум, в котором терялся любой шепот, — слитный шум голосов и музыки, доносившийся из пиршественного зала. Она прошла через зал и в дальнем его конце отодвинула занавес. Тут было светло от множества светильников; и тут ее поджидали прислужницы, онемевшие от страха за неотмытую царскую хну на ладонях и краску на ногтях. Но этим вечером Прекрасному Цветку было не до рабынь. Молчаливая, ничего не замечающая вокруг, сосредоточенная и полная решимости, она позволила им раздеть себя, умастить благовониями, расчесать волосы и переменить украшения. После чего села перед зеркалом — как перед алтарем.

Зеркало у Прекрасного Цветка было бесценное. Сказочное. Во-первых, в нем отражалось не только ее лицо, но и фигура по пояс. А если наклониться поближе, можно было видеть даже собственные ноги. Только у Высокого Дома были подобные сокровища. Ну и потом, кроме своей величины, оно не было ни медным, ни золотым, как у других обладательниц зеркал. Оно было из чистого серебра, а лишь серебро дарило той, которая в него смотрелась, самое дорогое — ее образ, не лстя и не уродуя. Отлитые из золота крылатые небесные богини,

которые поддерживали зеркало по бокам, глядели в сияющую гладь бесстрастно, словно не желая выражением своим влиять на впечатление от образа в его глубине. Серебро плющили и отбивали, обрабатывали всяческими составами и полировали, пока гладь его поверхности не с чем стало сравнить. И в самом деле, поверхности зеркала как бы вовсе не существовало — надо было подышать на нее или коснуться ее пальцем, чтобы удостовериться: невидимая плоскость есть. Эта плоскость была понятием, не чем иным, как перевернутой картиной сущего, которая ставила мир лицом к лицу не со своим отражением, но с самим собою.

Правда без лжи и прикрас — именно это нужно было Прекрасному Цветку. Она сидела, вперяя взор в свою мистическую сестру, которая в ответ глядела на нее, и обе были погружены в себя. Страх в рабынях постепенно прошел, и они начали тихонько шушукаться, хлопоча меж тем вокруг госпожи. Она не чувствовала их, не слышала, сидя на низеньком стульчике перед таким же низким столиком, на котором стояло ее зеркало. Сейчас на ней ничего не было, кроме голубого с золотом пояска, свободно, не стесняя обвивавшего талию; и то, что он обви-

вал ее свободно, было весьма разумно, поскольку любая попытка затянуть что угодно на этой тончайшей части ее тела, довершила бы то, что природа едва не сделала, — и разделила бы тело надвое. Лесть зеркала или чья-либо еще были бы в данном случае излишни. Ее текучее Сейчас достигло момента расцвета; и дальнейшие перемены ничего не могли бы прибавить к ее совершенству. Рабыни забрали вверх ее густые и блестящие черные волосы, но несколько локонов выбилось из прически. Она глядела не мигая, все глубже погружаясь в себя. Ни хирург, вперяющийся в простертое перед ним тело, ни живописец, пытающий свое полотно, ни философ, устремляющийся внутренним взором в метафизические пространства мысли, — никто из них не был более сосредоточен и отрешен от окружающего, чем Прекрасный Цветок, погрузившаяся в свое отражение.

Было очевидно, что она раздумывает, какую краску выбрать, потому что правая ее рука с кисточкой из расщепленной на конце тростинки замерла над каменной палеткой с изобилием красок на ней. Можно было выбрать малахит, растертый с маслом, или лазурит, белую или красную глину, шафран. А можно и золото,

только захоти — на маленькой подставке рядом с палеткой висели тончайшие полоски золотой фольги, трепетавшие в волнах жаркого воздуха от пылавших светильников, словно крылышки насекомых.

— Все готово. Пора...

Но Прекрасный Цветок не обращала внимания на рабынь, она их не видела и не слышала. Мучительным усилием воли она одолела сомнения и прорвалась к полной ясности выбора. Ей следует, ей должно остановиться на карминном, к этому исподволь, но с неизбежностью подталкивали другие краски. Зубки разжались, отпустив прикушенную нижнюю губу, и Прекрасный Цветок кивнула своей магической сестре. Карминный сочетается с синим, не с полночным темно-синим, едва отличимым от черноты, и не с яркой гладью полдневной синевы, окружающей солнце, — но с лазурью, отдающей белизной и словно светящейся изнутри. С бесконечной тщательностью она приступила к делу.

— Они ждут...

Прекрасный Цветок отложила краску, которой подводила соски.

— Я тоже готова.

Она уронила руки, и браслеты зазвенели, скользнув к запястьям. Гибким движением она поднялась с сиденья, и блики света вспыхнули, заструились, замерцали на ее темно-коричневой гладкой коже. Прислужницы принялись одевать ее, облакая в тончайший батист; она послушно поворачивалась, все медленней и медленней, пока седьмое, последнее, прозрачное покрывало не укутало ее с головы до ног. Она недолго постояла, не двигаясь и прислушиваясь к гулу голосов и звукам музыки, доносившимся из пиршественного зала. Потом медленно двинулась — возможно, не замечая того, что говорит вслух, печально и решительно:

— Я буду соблазнительной!

Пиршество было в разгаре; все говорили разом, отчего в зале стоял ровный гул. Присутствующие только изредка бросали взгляд в сторону Высокого Дома. Поскольку он был поглощен едой и питьем и беседой с Верховным и Болтуном, было лишь проявлением учтивости не замечать его — этим мнимым безразличием выказывалась высшая почтительность придворного. По этой причине пирующие, оказавшиеся за одним из столов, размещенных вдоль стен зала, вели себя так, словно их

свел вместе случай, и случаю же было вольно разводить их. Так что, даже если трое гостей — две женщины и мужчина, к примеру, — в данную минуту производили впечатление дружной компании, то через некоторое время кто-то из них оказывался за другим столом и в другой компании, которая вскоре распадалась таким же образом. Над столами, под несмолкаемый ровный шум голосов, покачивались головные уборы пирующих, как лилии под тихим ветерком. Никто из придворных не был пьян.

Хотя следить за Богом они могли лишь исподтишка — словно демонстрируя скорее природную, нежели благоприобретенную ловкость, — они ухитрялись осушать чашу наравне с Ним, ни чаще, ни реже. Поскольку он был старше любого из них, исключая Верховного и поскольку в питии явно преуспел больше, нежели в беге, они скоро должны были опьянеть; и они должны были скоро опьянеть, но не раньше, чем Бог.

В нем не было того оживления, какое наблюдалось в придворных. Но силы и хорошее расположение духа вернулись к нему. Он возлежал на широком ложе, где поместились бы двое таких, как он. Его левый локоть тонул в

— Ты считаешь это разумным, Высокий Дом?

— Я хочу пить.

За всеми столами наполнились чаши. Все почувствовали жажду.

Верховный покачал головой:

— Знаешь, Высокий Дом, это очень старая отговорка.

Бог рыгнул. Потом еще и еще. Дама слева, в углу, проявив замечательную находчивость, громко изобразила тошноту, чем вызвала всеобщий смех.

Бог хлопнул Болтуна по плечу:

— Позабавь-ка меня своими баснями.

— Я уже все рассказал, что знал, Высокий Дом.

— То есть все, что мог придумать, — поправил его Верховный. — Будь это правдой, тебя бы не звали Болтуном.

Болтун взглянул на него, открыл рот, словно собираясь возразить, затем понуро опустил голову.

— Тебе лучше знать.

— Еще басен, — не отставал Высокий Дом. — Еще, еще!

— Я не мастер рассказывать, Высокий Дом.

— Расскажи о белых людях.

— Ты уже слышал о них.

— Давай. — Бог шутливо дернул Болтуна за ухо. — Расскажи, на что похожа их кожа.

— Она выглядит как очищенная луковица, — покорно начал Болтун. — Только не блестит. Все их тело такого цвета...

— ...сплошь...

— Они не моются...

— Потому что тогда с них сойдет краска! — Высокий Дом захохотал во все горло, и все вокруг тоже засмеялись. Дама, которую стошнило, свалилась на пол, истерически взвизгивая.

— И они смердят, — добавил Болтун, — а как, это я уже рассказывал. Река, омывающая их землю, вздымается огромными волнами, и еще она так солонa, что, если выпить воды из той реки, потеряешь разум и станешь кататься по земле.

Высокий Дом снова захохотал, потом внезапно замолчал.

— Интересно, отчего я упал? — проговорил он. — Это очень странно. Вроде бы только что бежал — и вот уже лежу.

Болтун вскинул голову:

— Тебе дали подножку, Высокий Дом, я видел. И к тому же ты выпил столько пива перед бегом. В другой раз...

— Ты не был пьян, Высокий Дом, — вмешался Верховный, не переставая улыбаться. — Ты выбился из сил.

Бог снова дернул Болтуна за ухо.

— Расскажи-ка о том, — неожиданно расхохотался он, — как вода становится твердой.

— Ты уже слышал об этом.

Высокий Дом стукнул кулаком по ложу.

— Ну и что, буду слушать сколько хочу, — завопил он. — Сколько хочу, сколько хочу!

Вопль замер под высокими сводами. Занавес в дальнем конце зала раздвинулся, и показалось нечто похожее на белый льняной кокон, внизу которого виднелись крошечные ступни. Кокон просеменил в центр зала и остановился между столами.

— ...твердая как камень, правда, — рассказывал Болтун. — Зимой скалы у водопада обрастают бородой, как речные камни — водорослями. Только эта борода состоит из воды.

— Продолжай, — горячо сказал Высокий Дом. — Расскажи, какая она белая, и чистая, и холодная, какая она спокойная, — это очень важно, что она спокойная и неподвижная!

Откуда-то незаметно появилась темнокожая девушка. Она потянула за конец белого покры-

вала, и фигура стала поворачиваться, переступая маленькими ножками. Болтун продолжал рассказывать, а глазами косил в сторону кокона.

— Болота там черно-белые, и поверхность их тверда. Тростник будто костяной. И холодно...

— Ах! Продолжай...

— Это не просто прохлада, которую приносит вечер или ветерок с реки. Не прохладный бок пористого необожженного кувшина с водой; это холод, который набрасывается на человека, заставляет его приплясывать, потом сковывает его движения и, наконец, вообще не дает пошевелиться.

— Ты слышал, Верховный?

— Если человек ложится на белый песок, который тоже — твердая вода, то так и остается там лежать. Очень скоро он превращается в камень, в свою собственную статую...

Высокий Дом воскликнул:

— Он остается в Настоящем! Для него оно не движется!

Он обнял Болтуна за плечи:

— Ах, дорогой мой Болтун, я просто не могу обходиться без тебя!

У Болтуна вокруг рта легла грязно-белая тень.

— О нет, Высокий Дом! Это в тебе говорят доброта и благородство — я человек ничтожный и никому не нужный!

В этот момент послышалось покашливание Верховного. Они обернулись к нему, и он показал взглядом, куда следует смотреть. С кокона как раз соскальзывало покрывало. Высвободилась и упала блестящая волна волос. Женщина стояла к ним спиной и раскланивалась во все стороны. Волна мерцала, колыхаясь под мягкий рокот барабана. Маленькие ножки пританцовывали.

— Да ведь это, — вскричал Бог, — ведь это Прекрасный Цветок!

Верховный кивал и улыбался.

— Ваша восхитительная дочь.

Высокий Дом поднял руку в приветственном жесте.

Улыбаясь через плечо, Прекрасный Цветок изящно повернулась в такт музыке и освободилась от очередного покрывала; переливающаяся волна волос женственно плескалась, касаясь ее колен. Улыбка Бога и его жест словно послужили сигналом залу. Громкий говор за столами стих, кругом засияли восторженные улыбки, отовсюду неслись ласковые возгласы,

радостные приветствия. К барабану присоединились тростниковая флейта и арфа.

— Знаешь, она уже большая! — воскликнул Высокий Дом. — Ты не поверишь, какая она стала большая!

Болтун с трудом оторвал взгляд от Прекрасного Цветка, облизнул губы, наклонился к Высокому Дому и подтолкнул его локтем:

— Это лучше твердой воды, а, Высокий Дом?

Но устремленные вдаль глаза Бога не видели дочери.

— Расскажи мне еще о чем-нибудь.

Болтун задумчиво наморщил лоб. Потом, решив что-то, изобразил на худом лице скабрезную ухмылку.

— Про обычаи?

— Обычаи? Какие обычаи?

Болтун шепнул:

— О женщинах.

Он принялся нашептывать Высокому Дому, прикрыв рот ладонью. Глаза у Бога загорелись. Он заулыбался. Две головы сблизились еще больше. Бог протянул руку назад, не глядя поднес ко рту уже с чашей пива. Выцедил. Болтун долго

хихикал, сотрясаясь всем телом и продолжая говорить из-под ладони.

— ...иногда они видели их первый раз в жизни — это были чужие женщины!

Высокий Дом фыркнул, обдав Болтуна брызгами пива:

— Можешь рассказать о самом непотребном...

Верховный вновь предупреждающе кашлянул. Музыка изменилась. Флейта зазвучала еще гнусавей, словно сокрушаясь о чем-то желанном и недостижимом. Перемена произошла и в Прекрасном Цветке. Тело ее до пояса было обнажено, движения стали быстрее. Прежде двигались только ее ступни. Теперь наоборот — лишь ноги да голова оставались неподвижны. Улыбка стерлась с ее лица, и взглядом она обводила свои груди, поочередно, как бы оценивая. Делалось это так: правая рука сверху — локоть высоко поднят, ладонь выгнута — левая рука снизу — указывает на левую грудь. Ладони обрамляют ее, зазывают взгляд, легкое вращение левого плеча заставляет ее ритмично и тихо подрагивать,* так что взгляд может оценить ее теплоту и тяжесть, ее благоухание и бархатистость. Затем змееподобным движением положение головы и рук менялось, и она со-

средоточенно взидала на правую грудь. Лишь теперь, когда карминные соски исторгли свой аромат в тяжелый воздух, тростниковая флейта начала понимать желание, которое томило ее. Гнусавый ее звук стал похож на человеческий вопль. Он несся над столами, и кое-кто между питием обменивался поцелуями и осторожными ласками. Болтун, словно притягиваемый неодолимой силой, отвел взгляд от Высокого Дома и медленно повернул голову к Прекрасному Цветку. Его губы были воспалены, словно от жажды.

— Она прекрасна, — простонал он. — Прекрасна, прекрасна!

— Ты прав, она хороша, — согласился Бог. — Расскажи еще что-нибудь.

Болтун замычал в отчаянии:

— Любуйся ею, Высокий Дом, это лучше — или ты не понимаешь?

— Для этого у меня много времени впереди.

Прекрасный Цветок исполняла танец живота. Ее волосы разметались и блестели в пламени светильников. Болтун разрывался между нею и Богом. В отчаянии колотил себя по голове.

— Хорошо, — надулся Высокий Дом. — Раз не хочешь ничего больше рассказывать, сыграю в шашки с Верховным.

Откуда ни возьмись, как пиво до этого, появилась доска. Стоило Высокому Дому склониться над ней и потрясти чашкой с фишками, как за столами произошла перемена. Объятия уступили место приглушенным разговорам о питье и закусках, о развлечениях и играх. Прекрасный Цветок и музыканты, казалось, выступали перед пустым залом или же для собственного удовольствия.

— Твой ход, — сказал Высокий Дом. — Желаю удачи.

— Порой мне приходит на ум, — проговорил Верховный, — что, может, интересно было бы не полагаться на волю случая, делая ход, а продумывать его последствия для себя.

— Что за странная игра, — вздохнул Высокий Дом. — Похоже, в ней вообще нет никаких правил.

Он поднял глаза, увидел дочь и, прежде чем снова уткнуться в доску, благосклонно улыбнулся ей. Прекрасный Цветок продолжала танец, жестом приглашая полюбоваться тонкой своей талией и сложными узорами, какие вы-

писывали ее бедра, медленно вращаясь под последним покровом. Если бы удалось под слоем искусно нанесенной краски прочесть выражение ее лица, то взору открылось бы беспокойство, переходящее в полное отчаяние. Она дольше, чем полагалось, задерживалась на каждой фигуре танца, словно откровенной настойчивостью можно было увеличить их влекущую силу. Ее кожа блестела сейчас не только от благовонного масла.

Музыкантам приходилось несладко. Арфист ударял по струнам круговым движением с упорством крестьянки, перетирающей зерно в каменном жернове. У флейтиста глаза сошлись к переносице. Один барабанщик не знал устали и играл на своем инструменте то обеими руками, то одной. Разговор за столами шел о шашках, об охоте.

— Твой ход, Верховный.

Верховный потрянул одновременно головой и чашкой с фишками. Болтун, собрав всю свою смелость, дернул Бога за край юбочки, чтобы привлечь внимание к Прекрасному Цветку. С нее упал последний покров. Теперь на ней ничего не было, кроме украшений, и нагое ее тело сверкало в пламени светильников. Ее губы с

подведенными вниз в стилизованной гримасе желания уголками раскрылись, показав мерцающие зубы. Подошла кульминация танца и его завершение. Прекрасный Цветок шла через весь зал, приближаясь к Богу, — ведомая музыкой, манящей, чувственной, — порой сотрясаясь, словно в конвульсиях. Каждые несколько ярдов танец швырял ее на пол: руки раскинуты, колени широко разведены, живот выпячен. Она шла через зал, цепочкой мгновений, от Сейчас к Сейчас и к Сейчас. Она задела бедрами Бога, тот задел доску, и фишки слоновой кости разлетелись в разные стороны. Он гневно отпрянул и воззрился на нее.

— Я тебе что, мешаю?

Перепуганные музыканты смолкли, тишина повисла за столами и над возвышением, по которому разлетелись и замерли фишки. Все как окаменело, боясь пошевелиться. Лишь порывисто вздымалась грудь Прекрасного Цветка, лежавшей ничком на полу.

Высокий Дом задвигался, гнев сошел с его лица. Он провел ладонью по лбу:

— Ах да. Конечно. Совсем забыл.

Он свесил ноги с ложа и сел.

— Знаешь, мне...

— Да, Высокий Дом?

Высокий Дом взглянул на лежащую дочь.

— Это было замечательно, дорогая. Очень обольстительно.

Верховный наклонился к нему:

— Что ж, тогда...

Болтун в отчаянии приплясывал между Прекрасным Цветком и ложем:

— Это твой долг, Высокий Дом! Долг!

Высокий Дом сидел, упершись ладонями в ложе. Он напряг руки, напряжинул бицепсы. Подтянулся, подобрал живот, так что под дряблыми телесами слабым намеком обозначились мышцы. Несколько секунд он оставался в таком положении.

— Ну же, Высокий Дом! Пожалуйста.

Бог выдохнул набранный воздух. Он сидел, невидяще глядя перед собой, безвольно повесив руки, обмякнув телом, снова выставив гладкий круглый живот. Потом проговорил бесцветным голосом:

— Не могу.

С шумом, напоминающим свист пролетевшей мимо чудовищной стрелы, он снова втянул воздух. Никто в зале не осмеливался

поднять лица. Никто не осмеливался пошевелить пальцем или моргнуть.

Вдруг Прекрасный Цветок вскочила на ноги. Спрятав лицо в ладони, сотрясаясь всем телом, она медленно прошла через весь зал, и занавес сомкнулся за ней.

Из тени позади ложа к Богу метнулся юноша. Наклонился, прошептал что-то на ухо.

— Ах да. Сейчас иду.

Бог встал, и шелест пронесся по залу — то вслед за ним поднялись все присутствующие; но никто по-прежнему не смел поднять глаз, произнести слово. Высокий Дом последовал за юношей темными коридорами и вышел во внутренний двор. Тьма ночного неба густела над головой, растекаясь по небосклону, и на нем ярче проступал неисчислимый небесный народ. Ниже, под крадущейся ночью, ближе к горизонту, небосвод был голубее, светлее и едва ли способен вынести наваливающуюся тяжесть тьмы. Высокий Дом задержался на миг, только для того чтобы окинуть взглядом эту светлую полосу, тихо присвистнул и поспешил в угол двора. Там он негромко сказал юноше:

— В самый раз я сегодня успел, а?

В углу двора стоял алтарь, пристроенный вплотную к стене. Высокий Дом окропил себя святой водой, опасливо озираясь на темнеющее небо. Бросив щепотку благовонной смолы на тлеющие угли, он пробормотал несколько слов, и густой столб белого дыма поднялся над жертвенником, теряясь в темноте. Бог поспешил сделать то же самое в трех других углах двора. Потом постоял некоторое время, следя за тем, хорошо ли поднимаются столбы дыма, и направился обратно в пиршественный зал, бормоча на ходу то ли себе, то ли юноше:

— По крайней мере небесный свод поддерживать я еще способен.

Гости в зале все так же сидели за столами, потупив взоры и храня молчание. Болтун стоял на коленях подле ложа, вцепившись в ножку, словно утопающий. Высокий Дом взобрался на ложе и улегся на бок.

Потом проговорил:

— Я бы выпил.

Но прежде чем кто-нибудь успел пошевелиться, Верховный поймал его запястье и сказал со спокойной улыбкой:

— Разве ты не понимаешь, Высокий Дом?

Высокий Дом повернулся к нему. По его массивному лицу пробежала дрожь.

— Чего не понимаю?

— Сегодня утром ты упал. Сегодня вечером ты...

Высокий Дом замер. Потом рассмеялся:

— Ты хочешь сказать, мое время пришло?

— Именно.

Тишины как не бывало. Над столами неся шелест:

— Время пришло! Время пришло!

Болтун выпустил ножку ложа, ухватился за резное изголовье, по-прежнему стоя на коленях — глаза закрыты, голова запрокинута.

— Нет! Нет! — закричал он.

А Высокий Дом все смеялся. Он спустил ноги на пол, уселся на ложе, смеясь и обращаясь к собравшимся:

— Крепкое пиво, от которого не бывает тяжелого похмелья.

Верховный улыбнулся и подхватил:

— Прекрасные, неподвластные времени женщины...

Болтун забормотал тоже:

— Конечно, Высокий Дом! Что еще нужно мужчине? Пиво и женщины, женщины и пиво, и доброе оружие — что еще надо?

— Еще свой гончар, — добавил Верховный. — Музыканты. Пекарь, пивовар, ювелир...

Высокий Дом ущипнул Болтуна за ухо:

— И свой Болтун.

Болтун бормотал так громко, что заглушал все звуки в зале. Верховный похлопал его по плечу:

— Успокойся, дорогой мой Болтун!

Бог взглянул на него со своего ложа и улыбнулся еще шире. Он был настроен шутить.

— Не знаю, что со мной? Я просто не могу обходиться без тебя!

Болтун взвизгнул. Вскочил, повел вокруг горячими глазами. Потом бросился бежать. Он промчался через зал, перелетел через музыкантов и исчез, увлекая за собой одну половину занавеса. Там, где он исчез, раздались звуки потасовки: глухие удары, лязг оружия. Послышались военные команды. Болтун снова завопил:

— Не хочу!

Звуки борьбы и ударов заглохли в дальнем конце коридора; и еще раз, но уже слабее, до собравшихся донесся голос Болтуна, в котором звучали ужас и возмущение:

— Придурки! Разве нельзя воспользоваться чучелом?

Никто не двинулся с места. Лица у всех присутствовавших горели от стыда. Темная дыра на месте сорванной половины занавеса зияла непотребным покусением на незыблемость самой жизни.

Наконец Верховный нарушил тишину, провозгласив:

— Мы вновь полны сил.

Высокий Дом согласно кивнул:

— Я подниму воды реки. Клянусь.

Людей за столами обуяла радость, они смеялись и плакали в полноте чувств.

— Прости твоего Болтуна, Высокий Дом, — негромко сказал Верховный. — Он не в себе. Но он будет там с тобой.

Гости подходили к Высокому Дому. Плача и смеясь, они тянули к нему руки. Высокий Дом смахнул слезу:

— Вы моя семья! Мои дети!

Верховный крикнул:

— «Ключ» Высокому Дому!

Гости столпились вдоль стен, освободив проход посредине. В тот же миг из тени за занавесом появилась маленькая старушонка в чадре и с чашей в руках и медленно направилась к Богу. Приблизясь, она протянула ему чашу и скры-

лась в тени бокового коридора. Высокий Дом принял чашу обеими руками и возбужденно засмеялся. Он поднял ее над головой. Крикнул во весь голос:

— Да пребудет неизменное Сейчас!

Он пил и пил, запрокидывая голову; а гости начали танец, переступая маленькими шажками, шаркая сандалиями и негромко хлопая в ладоши. И, танцуя, покачивая головами и глядя друг на друга сияющими глазами, они пели:

Река наполнила берега.
Голубой цветок распустился;
Настоящее остановилось.

Высокий Дом снова лег и закрыл глаза. Верховный склонился над ним, расправил ему расслабленные члены, сдвинул вместе колени, разгладил смявшуюся юбочку. Вступили музыканты, подыгрывая танцующим. Те задвигались быстрее, и Бог заулыбался, засыпая. Верховный сложил ему руки на груди — не хватало только жезла и плети. Потом пощупал пульс, тронул левое запястье и прислушался к дыханию, приложив ухо к гру-

ди. Выпрямился, зашел со стороны изголовья и осторожно вытянул подушку из-под головы спящего.

«Река поднялась навсегда, — пели танцующие. — Настоящее стало вечностью».

Они двигались, сплетая сложный узор танца, постепенно образуя концентрические круги. Языки светильников плясали в волнах горячего воздуха. В проемах дверей толпились слуги и солдаты. Юбочки мужчин и прозрачные туники женщин прилипли к извивающимся телам.

Верховный стоял позади ложа и смотрел на танцующих. Вот он воздел руки над головой. Танцующие замерли, музыка смолкла, инструмент за инструментом. Он кивком подал знак, и солдаты вместе с «чистыми» бросились к нему сквозь толпу. Они обступили ложе, легко подняли его, пронесли через весь зал и скрылись в темной и таинственной глубине Высокого Дома. Следом разошлись и гости, молча, не оглядываясь. В пиршественном зале никого не осталось, кроме Верховного. Он стоял, глядя на светильники, и на его губах блуждала легкая улыбка. Вскоре и он отправился спать.

Только в одной части Высокого Дома еще бодрствовали. На верхней террасе, обращенной

к отдаленной реке, группа женщин сидела на корточках вокруг девушки, лежавшей ничком на полу, и молча глядели на нее. Волосы девушки рассыпались по полу; на ней ничего не было, кроме тонкой туники, которая завернулась, открыв ноги. Тело ее было словно сведено судорогой. Лицом, на котором краска расплылась от слез, она уткнулась в согнутый локоть; стиснутый кулачок время от времени вздрагивал от сотрясавших ее рыданий. Другая рука то шарила по полу, то колотила по нему. Некрасиво скривив рот, совсем по-детски, девушка плакала во весь голос. Иногда она затихала и лишь шмыгала носом и всхлипывала, и тогда среди тишины слышался ее стон:

— Какой позор, какой невыносимый позор!

Когда вода в реке поднялась по велению Спящего, долгожданное это событие застигло врасплох лишь тех, кого это касалось больше всего. Журавли и фламинго вразвалку расхаживали по мелководью, хлопая крыльями и клекоча, когда быстро прибывающая вода плескала неожиданной волной. Первая волна вспугнула их, но последующие вызвали только довольную суматоху. В них проснулись делови-

тость и вкус к жизни, вдруг обернувшейся своей приятной стороной. Они клевали и глотали так, словно изо всех сил старались показать, что их аппетит соответствует тому изобилию всевозможных форм жизни, коими кишел речной ил, в одночасье напивавшийся водой. Едва сухие пеньки тростников скрылись под первыми дюймами воды, как появились утиные флотилии, которые с самодовольным кряканьем покачивались на мелкой ряби. Ястребы и канюки, обычно равнодушные к полям, теперь висели в небе вдоль всей линии наступающей воды. Землеройки и полевки, змеи и слепушонки, которые не обладали врожденным чувством опасности наводнения и теперь в паническом бегстве искали спасения на возвышенных местах, получали горький и слишком поздний урок. Но люди, знавшие, отчего поднимается вода в реке и что это несет им сытость в желудке, были исполнены радости и любви к Спящему, так что, когда в воздухе повеяло вечерней прохладой, они принялись петь и танцевать. В жаркое время дня у них не было иной заботы, как сидеть в тени и наблюдать за прибывающей водой. Когда сумерки освобождали их от тирании солнца, они ходили по мелкой теплой воде, брыз-

гая ею на землю, жесткую и шершавую под ступней, как кирпич, или же, наклонясь, черпали пригоршней и плескали на себя. Иные подходили к краю своих полей, чтобы насладиться картиной, которую помнили по прошлым годам, чтобы ощутить, как скользит под ногами начинающая отмокать земля, и стоять, с блаженной улыбкой мяса ее босыми ступнями.

Когда вода достигла Отметки Доброй Еды — и когда деревушки уже так долго стояли окруженные разливом, что некоторые из младших детей решили, что наступило то самое Сейчас, которое никогда не кончается, — незаметно подошел день пробуждения. Он начался как обычно, окрасив небо поочередно в зеленый, алый, золотой и, наконец, синий цвет. Но люди слышали гудение труб и, смеясь, глядели друг на друга, потому что трубы возвещали о том, что Отметка Доброй Еды достигнута.

— Сегодня Спящий проснется, чтобы жить в вечном Сейчас, и прикажет реке отступить.

И потому они заняли удобные позиции на крышах своих домов и объясняли происходящее детям. Все утро слышалось гудение труб и бой барабанов; а в полдень, когда солнце свирепым своим оком уставилось в водную гладь,

над которой курился невидимый пар, они увидели процессию, растянувшуюся вдоль полоски сухой земли между скалами и затопленной землею. Они увидали самого Спящего, которого несли впереди процессии. Он лежал на носилках, поддерживаемых восьмью рослыми мужчинами. Он был запеленут с головы до ног, его толстые руки были сложены на груди и держали жезл и плеть. В разноцветье его украшений выделялись золото и синяя эмаль; даже издалека можно было разглядеть его торчащую накладную бородку, темневшую на фоне искажаемых дрожащим маревом скал. Следом шли женщины с длинными распущенными волосами, танцую и голоса; одни, с сестрами в руках, пытались разбудить его, другие выли и наносили себе раны ножами. Позади шли «чистые» и прочая челядь Бога в Доме Жизни; и наконец, сбоку шагала группа мужчин и женщин, державшихся за руки. Медленным было это путешествие Спящего. Длинной и медленной — процессия, что плелась позади него, шествовала сбоку по насыпным плотинам, отделявшим поля от воды. Многие крестьяне, движимые любовью и любопытством, слезали с крыш и подходили по мелкой воде, чтобы рассмотреть

процессию поближе. Широко раскрыв глаза, словно дети, они стояли в воде и наблюдали, как процессия движется мимо. Они зывали к Спящему, но он не просыпался, поскольку «чистым» еще предстояло потрудиться над ним. И так они стояли там, потому что, бредя по воде, не могли поспеть даже за столь медленной процессией, и приветственно махали ей.

Была в этой процессии группа, которую они разглядывали в немом недоумении. В самом конце, чуть поотстав, несколько солдат волокли упиравшегося Болтуна. На его шее висел пектораль Высокого Дома, как на шеях тех, кто, взявшись за руки, шел сбоку. Если Болтун умудрялся — что иногда ему удавалось — высвободить руку, он пытался сорвать свой пектораль. Кроме того, он то выкрикивал что-то, то вопил или выл; и все время порывался вырваться, борясь с солдатами, так что им стоило немалых трудов не помять его. Впрочем, он сам был очень близок к тому, чтобы привести себя в неподходящий вид — уже и пена пузырилась у него на губах. Шум, который он поднимал, слышен был чуть ли не в голове процессии.

— Не хочу, говорю вам! Не хочу жить вечно! Не хочу!

Мужчина из последней пары державшихся за руки оглянулся на него и сказал идущей впереди женщине:

— Никогда не мог понять, что Высокий Дом в нем находит.

Крестьяне взбирались на насыпь и спешили за процессией и Болтуном. Когда же дамба расширилась, слившись с берегом, и процессия остановилась, разбившись на отдельные группы, они образовали толпу любопытных.

Процессия остановилась перед вытянутым приземистым строением, мимо которого недавно бежали Высокий Дом и Болтун. В стене открывался проход, уводящий между наклонными каменными плитами вниз с залитой солнцем поверхности во тьму подземелья. Вход занимал только половину ширины коридора; сбоку от входа была щель на уровне глаз. Те из процессии, кто находился близ входа, могли видеть эту щель; но и те, кто стоял далеко или кому вид загораживали спины, знали про нее и про то, чьи глаза глядят на них сквозь щель.

Носильщики со Спящим прошли вниз по коридору, сняли его с носилок и поставили на ноги — лицом наружу. Толпа, хлынувшая вперед, могла видеть, что он все еще спит, ибо его

веки были сомкнуты. Но тут подошли «чистые», вооруженные инструментами и заклинаниями; и вскоре его глаза открылись, а один из «чистых» отбросил кусочки глины, которыми они были залеплены. Спящий проснулся, Высокий Дом стоял и глядел из своего остановившегося Сейчас сквозь толпившуюся семью, полный жизни, здоровья, сил. Затем пришел черед Верховного, поскольку, среди прочего, он выполнял и обязанности «чистого». Он обернул свое тело жизнью леопарда, подпоясался. Поднял небольшое кремневое тесло и вонзил его в деревянный рот. Он действовал им как рычагом, и стоявшие поблизости услышали легкий треск, подобный треску сучьев в огне. Когда Верховный отступил назад, люди увидели, что Высокий Дом говорит с ними в его остановившемся Сейчас, ибо рот его был открыт. И потому все принялись петь и танцевать. Но среди танцующих и поющих было немало таких, у кого наворачивались слезы на глаза при мысли о том, сколь неуловимо это Сейчас для них самих, — лишь его тень удастся удержать. Солдаты, носильщики, «чистые» вынесли Бога из коридора и подняли на крышу строения, где были приготовлены несколько больших бре-

вен, сложенных так, что между ними оставалась брешь. «Чистые» спустились в нее вместе с Высоким Домом; и солдаты, столпившиеся наверху вокруг бреши, видели, как скользнула на место и была запечатана печатью крышка саркофага. Затем «чистые» выбрались на поверхность и оставили Бога одного в его гробнице, заполненной едой, и питьем, и оружием, и играми.

Они стояли и смотрели, как солдаты сбросили вниз бревна и завалили отверстие огромными камнями.

Всю процедуру, которую «чистые» проделали с Высоким Домом, они повторили с его Близнецом, стоявшим выпрямившись в коридоре, позади щели. Отличие было лишь в том, что появившийся Верховный, вместо того чтобы ударом тесла открыть Близнецу рот, лишь прикоснулся к его губам, потому что Близнец был из камня. Что до глаз, то они у Близнеца уже были открыты и сквозь щель глядели на них.

Затем люди, что держались за руки, толпой повалили ко входу, и каждый получал то, что ему полагалось. Они шли мимо выстроившихся двумя шеренгами «чистых»: каменотес — с

буравом, плотник — с теслом и стамеской, пекарь — с солодом, женщины — в прекрасных одеждах и накрашенные, музыканты — с инструментами под мышкой. Они смеялись и оживленно разговаривали, входя в коридор, где, гордые и ликующие, брали вручаемые им чаши. Только Болтун продолжал сопротивляться; теперь его вопли казались им еще отвратительней. Верховный пытался успокоить его, говоря, что он болен, что на него наслали порчу, но Болтун не слушал его и кричал:

— Если ты это сделаешь со мной, я не буду развлекать его, не стану ничего рассказывать ему — *никогда!*

При этих словах танцующие словно налетели на невидимое препятствие, а избранники, вошедшие в коридор, обернулись в великом удивлении. Верховный резко ударил Болтуна по лицу, так что тот от неожиданности замолчал и несколько мгновений стоял, шумно дыша и мотая головой.

— Приди в себя. Успокойся. Ну скажи нам, почему ты отказываешься от вечной жизни?

И тогда Болтун произнес ужасные, нечестивые слова, от которых содрогнулся мир. Он помолчал. Перестал раздувать ноздри. Дернул-

ся всем телом так отчаянно, что державшие его солдаты едва устояли на ногах, изогнулся и, яростно взглянув на Верховного, крикнул:

— *Потому что эта жизнь достаточно хороша!*

Эти слова заставили замереть все звуки; слышалось только частое тяжелое дыхание Болтуна. Танцующие остановились, и вокруг Болтуна образовалось кольцо удивленных и исполненных презрения лиц. Внезапно, будто почувствовав, как это презрение подталкивает его к Богу, Болтун предпринял яростную попытку вырваться. Верховный вытянул руку. Болтун прекратил борьбу и затравленно смотрел на нее, словно эта рука держала нить его жизни. Спокойно, как врач, объясняющий болезнь, Верховный сказал:

— Еще не было человека, который отверг бы милость, оказываемую Высоким Домом. Но этот человек — нечист, он должен быть очищен. Бросьте его в яму.

Едва солдаты повернулись, чтобы исполнить приказ, силы оставили Болтуна. Он упал и остался бы лежать на песке, если бы солдаты не держали его за руки, безвольно висевшие как веревки. Толпа молча наблюдала, как солдаты

удалялись, волоча Болтуна; голова его с открытым ртом безвольно моталась из стороны в сторону. Они протащили его по дамбе и скрылись из виду.

И тогда люди, словно небывалое происшествие объединило их еще больше, снова устремились ко входу в лабиринт. И те, кто ждал внутри, держа в руках инструменты и чаши со смертельным напитком, запели и двинулись дальше; зашагали и те, кто уже исчез в глубине коридора, кого больше не было видно, даже не было слышно, чье пение слабело по мере того, как они скрывались в темноте. Когда остались последние двое, песню едва было можно услышать снаружи. Но вот остался один, потом ни одного — только слабый отзвук песни витал над входом. Толпа ловила его, напрягая слух, подавшись вперед, вытянув шеи — не уверенная, то ли слабое пение она слышит, то ли воспоминание о нем. Наконец — и в том никто уже не сомневался — наступила полная тишина; и скорбь объяла тех, кто остался снаружи — один на один со своим личным Сейчас, которое предстояло преодолеть. Их скорбь усиливалась по мере того, как замирало пение, и была столь же несомненной, как наступившая

тишина. Женщины завывали, принялись бить себя в грудь, рвать на себе волосы; мужчины издавали вопли, как попавшие в капкан звери. Только «чистые» не ведали скорби. Взяв пищу, и питье, и факелы, они вошли в коридор. Магическими словами они запечатали вход, сложили пищу и питье у щели, оповестив о том немигающие глаза, что пристально следили за ними из тьмы. Они покинули коридор и пошли обратно по дамбе, предводительствуемые Верховным. Толпа тоже разбрелась — кто по дамбе, кто по затопленным полям. Остались одни солдаты, которые принялись за работу — заваливать коридор камнями и песком.

Принца заставляли учиться сидеть на троне. Верховный забрал его от нянек и усадил в подходящее кресло. И так он сидел в мрачном пиршественном зале, колени и ступни вместе, грудь выпрямлена, подбородок поднят, глаза широко открыты и глядят прямо перед собой. На нем было подогнанное по росту парадное одеяние, довершавшееся искусно завязанным царским узлом; в прижатых к груди руках он держал жезл и плеть. Его замечательную прядь сбрили, и теперь его голова под тесным пари-

ком была гола, как булыжник. К парику была прикреплена кеглеобразная льняная корона, головной убор царей Верхнего Египта, к подбородку привязана борода. Он сидел, стараясь не дышать и боясь мигнуть, когда от напряжения перед глазами начинала плыть тьма и слеза появлялась на ресницах.

Верховный ходил и ходил вокруг кресла. Тишина нарушалась лишь тихим шуршанием его юбочки.

— Хорошо, — приговаривал Верховный. — Очень хорошо.

И снова кружил и кружил вокруг. Из затуманенных глаз принца выкатилась слеза и побежала по щеке. Он не выдержал и яростно моргнул.

— Эй! — воскликнул Верховный. — У тебя так хорошо получалось, но ты все испортил. Держи глаза открытыми, чтобы люди видели твои слезы. Не моргай!

— Не могу не моргать! Ведь все моргают!

— Ты будешь не как «все», — раздраженно сказал Верховный. — Тебе предстоит стать Богом, Высоким Домом, восседать на троне, держа в одной руке символ власти, в другой — символ отеческой заботы.

— Они увидят, что я плачу!

— Они и должны увидеть, как ты плачешь. В этом глубочайший религиозный смысл. Можешь ты представить себе Бога, который смотрел бы и не плакал от того, что видит?

— Всякий заплачет, — угрюмо возразил принц, — если все время смотреть в одну точку и при этом ни моргнуть, ни потерять глаза.

— Всякий и моргнет, и потрет глаза, — отрезал Верховный. — В этом и разница.

Принц выпрямился и снова уставился немигающим взглядом в темноту. Он увидел, как осветился широкий прямоугольник входа в другом конце зала, и понял, что солнечный свет медленно пробирается к нему по коридору. Выдержка покинула его — он бессильно сомкнул веки и уронил голову на грудь. Руки упали на колени, и жезл звякнул о плетень. Верховный прекратил свое кружение.

— Опять!

— Я не могу. Не могу поддерживать небесный свод... ерзать на сестре... держать глаза всегда открытыми... заставлять воды реки подниматься...

Верховный ударил себя кулаком о ладонь. Мгновение казалось, что он взорвется; но он ов-

ладел собой, наклонив голову, сглатывая слюну и глубоко дыша.

— Пойми, дитя мое. Ты не представляешь, в какой мы опасности. Не представляешь, как мало у нас времени... твоя сестра ничего не желает знать... никого не желает видеть... вода все прибывает...

Он склонился к принцу и заглянул ему в глаза.

— Ты *должен!* Все будет хорошо! Обещаю. Ну попробуй снова.

Принц опять принял позу сидящего бога. Некоторое время Верховный наблюдал за ним.

— Уже лучше! Так. Мне необходимо увидеть твою сестру — необходимо! Так что я покину тебя. Оставайся в этой позе, пока солнце не пройдет от одной стороны входа до другой.

Он выпрямился, поднял руку, потом поклонился, коснувшись пальцами колена, отступил на три шага, повернулся и поспешил прочь.

Когда шорох юбочки Верховного стих в отдалении, принц выдохнул, осел в кресле, ссутулив спину, и закрыл глаза. Поднял худенькую руку и провел по лицу. Передвинулся в кресле, чтобы узел не давил на торчащий крестец. Положил жезл и плетъ на пол рядом с крес-

лом. Бросив взгляд на вход, он сорвал с себя льняную корону таким резким движением, что заодно слетел тесный парик и порвалась узкая завязка бородки. Он швырнул то и другое на жезл с плетью. Потом хмуро сгорбился в кресле, упершись локтями в колени и положив подбородок на кулачки. На плитах пола вспыхнула крохотная точка — солнечный зайчик — и приковала к себе его внимание. Точка выросла в сверкающую монету.

Он резко выпрямился в кресле, потом вскочил и принялся кружить по огромному помещению. Время от времени он оглядывался на фигуры с птичьими головами, которые не мигая и не плача смотрели со стен. Наконец он остановился посередине зала, спиной к солнцу. Медленно поднял голову и вгляделся в смутные очертания громадных стропил и балок. Потом подался назад, словно они грозили обрушиться ему на голову.

Он осторожно подошел к дверям и выглянул в коридор. В одном конце дремал, привалясь спиной к стене, страж. Принц расправил, сколько мог, плечи и твердым шагом пошел по коридору к стражу, который проснулся и приветствовал его поднятием копья. Принц не удо-

стоил его вниманием и свернул за угол, где встречная девушка испуганно прижалась к стене, пропуская его. Он прошел Высокий Дом насквозь, не обращая внимания на встречающих людей, пока не услышал приглушенный шум кухонь. Он миновал и их: повара спали, судомойки драили котлы и пятались на него; миновал кухонный двор, где под открытым небом медленно жарились на углях гуси. Задние ворота, ведущие к скалам в пустыне, были открыты. Он вдохнул всей грудью, словно собираясь нырнуть, и, стиснув кулаки, прошел в ворота.

Очутившись на воле, он остановился в тени стены и внимательно оглядел угловатые подножия скал, наносы песка, зубчатую линию утеса на фоне неба. Суровая, бесплодная земля. Ничего, что напоминало бы ласковую тень у реки. Зато здесь можно было прекрасно спрятаться. Он зашагал вперед, стараясь где можно держаться в тени, хотя она встречалась не часто. Он шел и бормотал про себя:

— *Она-то* все может, что я не могу.

Слезы бежали у него по щекам.

Спотыкаясь о камни, он свернул в сторону и, скорчившись за валуном, огляделся вокруг. Среди камней он заметил человека. Тот сидел

на круглой вершине бугра, и его темная фигура четко вырисовывалась на серой скале. Голова его была низко опущена, словно под гнетом палящего солнца.

Человек стал на колени и принялся перебирать руками вверх и вниз, вверх и вниз. Принц внезапно понял, что человек вытягивает из земли нечто вроде веревки. Не успел он это понять, как различил возникшие под рукой у человека кувшины и чашки, находящиеся, возможно, в сетке, сплетенной из шнура, слишком тонкого, чтобы его было видно издалека. Человек встал во весь рост, презрительно свистнул и плюнул себе под ноги. Потом поднял камень и угрожающе размахнулся, целясь во что-то под ногами. Раз и другой он сделал вид, что бросает, затем швырнул-таки, и скала издала вопль. Человек повернулся и не спеша пошел обратно, смеясь и помахивая сеткой с чашками и кувшинами. Принц съежился за валуном и слушал, как скрипят шаги человека, возвращавшегося назад. И еще долго после того, как ворота с громким стуком закрылись за человеком, его была дрожь.

Наконец он поднялся, прикрыв глаза ладонями, сложенными козырьком, и пошел вверх по

склону. Солнце палило его обритую голову, слепило, отражаясь от скалы. Стараясь смотреть только здоровым глазом, он поднялся на бугор.

Сначала он почуял вонь; потом увидел мух. Холм кишел ими. С каждым шагом их гудение становилось громче, и вскоре они уже облепили его.

Он увидел, что стоит на краю ямы. Высокое солнце заливало ее, оставляя лишь узенькую полоску тени у одной стены. Мух, и это было очевидно, привлекала яма — гудящая их туча чернела внизу, копошилась на отбросах: костях и гниющем мясе, расплзшихся остатках овощей и покрытых слизью камнях. В одном углу, на самом солнцепеке, лежал слепой старик, головой опираясь о каменную стену ямы. Он превратился в скелет, и одно только отличало его от сваленных в яму костей — его скелет был еще обтянут кожей. Слой грязи покрывал его. Рот был открыт, и по губам ползали мухи. В тот момент, когда принц осознал, кто это лежит в яме, из горла слепого вырвался слабый хрип.

Ближе к середине ямы, на маленьком пятчке, очищенном от отбросов, стоял на коленях человек. Принц взгляделся и воскликнул:

— Болтун!

Но Болтун не отозвался и продолжал пить. В руках у него была плошка, и он, опустив в нее лицо, сосредоточенно хлебал, заглушая хрип старика и гудение мух. Он запрокинул голову, чтобы выцедить последние капли, глянул поверх плошки, заметил фигуру, стоящую на коленях у края ямы, и с криком забился в угол.

— Не надо!

— Милый Болтун! Это я!

Болтун осторожно скосил глаза из-под поднятых в испуге рук и посмотрел вверх. Его лицо было опухшим от побоев, покрыто грязью и кровью свежей раны, глаза — в обводе красных, как кровь, воспаленных век.

— Принц?

— Помоги мне!

Болтун топтался в отбросах. Потом взвизгнул:

— Тебе? Ты не нуждаешься в помощи! Это мне нужна помощь!

— Я сбежал.

— Нет, я грежу. Мне мерещатся призраки. Мне сказали, что я сошел с ума... и вот...

— Я не хочу возвращаться.

Болтун, заслонившись ладонью от солнца, посмотрел вверх.

— Это в самом деле ты?

— Из меня хотят сделать Бога.

Болтун горячо заговорил:

— Вызови меня отсюда! Пойди к сестре — скажи, чтобы помогла!

— Она никого не хочет видеть, — ответил принц. — Кроме того, я ведь сбежал. Мы могли бы уйти вместе.

Болтун замер.

— Ты? Убежал?

— Мы могли бы уйти туда, где холодно, и жить там.

— О, так просто! — усмехнулся Болтун. — Ты наивен.

— Я и сам туда дойду.

Болтун визгливо засмеялся:

— Нам придется добираться до устья реки, там пересечь море, другую землю и еще одно море...

— Пусть!

— Тебя когда-нибудь обменивали на лодку лука?

— Нет, конечно нет.

— А сириец тебя не ощупывал, чтобы узнать, годишься ты в евнухи или уже перерос?

— Какой такой сириец?

— Нас продадут в рабство...

Болтун замолчал, облизнул потрескавшиеся губы, медленно обвел взглядом край ямы и опять посмотрел на принца.

— Пол-лодки, может, и дали бы, да только силенок у тебя маловато и слишком красивым тебя не назовешь, не так ли?

— Я — мальчик. Будь я девочкой, то был бы красивым. И не нужно было бы заставлять воду в реке подниматься или...

— Эти твои браслеты, — медленно проговорил Болтун. — Они придают тебе нечто такое... Из тебя мог бы получиться евнух.

— Пусть уж лучше будет девочка, — с некоторой робостью сказал принц. — Можно это устроить, как по-твоему?

Сквозь слой грязи на лице Болтун смотрел на принца неподвижным взглядом, что-то прикидывая.

— О да. Вытащи меня отсюда, и тогда...

— Так мы идем? Правда идем?

— Идем. Теперь слушай...

Слепой опять захрипел.

— Отчего он так хрипит?

— Умирает, — пояснил Болтун. — Давно уже.

— Как он сломал свою палку?

— Я пытался выбраться из ямы с ее помощью. Встал старику на плечи, а он упал.

— Наверно, его мучает жажда.

— Конечно, — равнодушно подтвердил Болтун. — От этого он и умирает.

— Что ж он не пил?

— Потому что я хотел пить, — взорвался Болтун. — Еще дурацкие вопросы будут? Мы теряем время!

— И все-таки...

— Послушай. Кто-нибудь видел, как ты шел сюда?

— Нет.

— Ты мог бы подкупить стражу?

— Верховный узнает. Ему известно все.

— Ты слишком мал, чтобы дотащить лестницу. Но ты мог бы принести веревку. Прикрепить ее к скале и бросить мне конец...

Принц вскочил и захлопал в ладоши.

— Да, да, да!

— Эта твоя сестра — самая невежественная, бестолковая, сводящая с ума, прекрасная — *у нее-то* веревки нет... Мог бы *ты* найти веревку?

Не стой принц на краю ямы, он пустился бы в пляс от охватившей его бурной радости.

- Я найду веревку, — закричал он. — Найду!
- И вот что еще... У тебя ведь есть другие украшения, не только те, что сейчас на тебе.
- Есть.
- Принеси.
- Хорошо!
- Значит, веревка, драгоценности. Как стемнеет. Клянешься?
- Клянусь! Клянусь, Болтун, дорогой!
- Тогда иди. Это мой... это наш единственный шанс.

Принц отошел от ямы и уже спустился на несколько ярдов с горы, когда вспомнил об опасности и, юркнув в сторону, спрятался за камнем. Но страж не прогуливался у задних ворот. Вообще не было видно ни души; и сами ворота были закрыты. Он решил направиться к тени пальмовой рощи и оттуда, по залитым водой полям, обойти Высокий Дом и добратся до главных ворот. Но у края поля он наткнулся на двух голых ребятишек, которые пускали по воде лодочку из тростника. Он попросил проводить его к главным воротам, и они безропотно повиновались, видя его браслеты и ожерелье, его сандалии, Священный узел и плоеную юбочку. Там он прошел через пере-

дний двор прямо в свои комнаты; он поднял нянек, предававшихся послеполуденному отдыху, и, поскольку был почти Богом, они с готовностью повиновались ему, заслышав новые, твердые нотки в его голосе. Ему нужны драгоценности, много драгоценностей; и, когда они осмелились спросить зачем, он так глянул на них, что они тут же ретировались. Наконец драгоценности принесли и свалили в кучу перед ним; он ощущал странное удовлетворение, навешивая их на себя, пока не начал бренчать и звенеть при каждом движении.

Теперь предстояло раздобыть веревку. В Высоком Доме сделать это было, пожалуй, непросто. В колодцах рядом с кухнями были веревки, но чересчур длинные, и добраться до них было трудно. Много веревок было у главных ворот на флагштоках, но возле каждого стоял человек, подымавший болтавшийся в безветрии вымпел. Принц был в растерянности и уселся, звякнув драгоценностями, в углу, чтобы решить, как ему быть. В конце концов он ясно понял одно: веревки ему не найти. Слуги, к которым он обращался, кланялись и, почтительно пятась, отступали, чтобы больше не вернуться. Он тяжело вздохнул и почувствовал,

что дрожит. Когда действительно нужна веревка, обращаться следует лишь к одному человеку — который знает все. Он медленно поднялся, звякнув украшениями.

Площадка высокой насыпной террасы выходила на вздувшуюся реку. Над площадкой был натянут обвисший в неподвижном воздухе полог. Прекрасный Цветок сидела в тени полога и смотрела на воду. Она изменилась и словно сделалась меньше. Ее длинные волосы были острижены и немного не доставали до плеч, на лоб спускалась челка. Хотя на голове у нее был царский урей — золотой обруч с золотой же коброй, усыпанной топазами, она казалась еще тоньше фигурой и лицом, на котором не было никакой краски, кроме толстого слоя малахита на веках и на ресницах, чтобы защитить глаза от солнца. Итак, она мрачно глядела на воду: и если бы кто взглянул ей в лицо, то прочел бы в нем обиду и одновременно вызов.

Перед ней стоял Верховный. Стоял, подпирая подбородок правой рукой. На его лице засыпала напряженная улыбка.

Прекрасный Цветок опустила голову и уставилась в каменный пол террасы.

— Ты видишь — я потерпела неудачу. Знаю, он сердит на меня. Я все время это чувствую.

— На меня тоже. На всех нас.

— Никогда, никогда не прощу себе этого.

Верховный пошевелился. Улыбка его стала кривой.

— Недолго тебе сокрушаться. Возможно, у всех нас не осталось больше времени.

Она встревоженно взглянула на него. Грудь ее вздымалась.

— Ты хочешь сказать, что Он всех нас потопит?

— Это... очень вероятно. Потому-то я рискнул довериться тебе. Я сказал уже, что у нас мало времени. Тем не менее мы, на ком лежит ответственность за народ, должны сделать все возможное. Нам нужно как следует подумать. Ты понимаешь, Прекрасный Цветок, — в этих чрезвычайных обстоятельствах я ведь могу так называть тебя?

— Да, конечно.

— Что отличает человека от остальных тварей?

— Не знаю!

— Способность анализировать факты — и делать выводы.

Сцепив руки за спиной, он принялся расхаживать по террасе.

— Сначала, — заговорил он, — мы должны установить факты.

— Какие, факты?

— Кто поддерживает небесный свод? М-м?

— Ну... Он.

— Кто год за годом в Его... отеческом великодушии... повелевает реке разливаться?

— Он, разумеется.

— А в данный момент — у нас уже есть другой Бог?

— Нет, — тяжело вздохнула она. — Пока нет.

— Следовательно... кто в данный момент заставляет реку разливаться дальше?

— Он. Я думала...

Верховный поднял палец:

— Вот так, шаг за шагом мы пришли к выводу. Да. Он заставляет воду прибывать. Мы установили первый факт. Идем дальше. Какой Отметки достигла вода, когда Он вступил в Его Вечное Сейчас?

— Отметки Доброй Еды.

— И это произошло после того, как ты, по твоему выражению, потерпела неудачу. Но в тот момент Он должен был быть доволен. Понимаешь?

— Но...

— Твоему женскому сердцу не побороть гранитной несокрушимости логического доказательства.

Глаза у нее расширились.

— Что значат твои слова?

Верховный задумался на минуту, потом заметил:

— Сказано, пожалуй, мудрено; но смысл таков: я прав, а ты — нет.

Она выпрямилась в кресле; улыбка тронула ее губы.

— Может быть, не так уж я не права.

— Как бы то ни было, не слишком радуйся, Прекрасный Цветок, не слишком радуйся!

— Мне нечего бояться.

— Итак, факт. Что-то вызвало Его недовольство после того, как Он вступил в Дом Жизни.

Верховный помолчал, затем вновь принялся расхаживать. Остановился и посмотрел на нее.

— Говорят — и я не буду из ложной скромности этого отрицать, — что я всеведущ. Что в силах узнать человек, то я знаю.

Она взглянула на него сквозь густые ресницы. Улыбнулась краешком губ.

— Ты и обо мне все знаешь?

— Я знаю, что ты ведешь очень уединенный образ жизни. Но необходимо сказать все до конца, иначе мы с этим не справимся. Причина Его гнева — лицо, к которому ты, возможно неосознанно, проявляешь большой интерес. Ну вот. Я сказал, что хотел.

Ее щеки на мгновение вспыхнули; но на губах по-прежнему блуждала улыбка.

— Я опять не понимаю твоих слов.

— Я имею в виду, конечно, Болтуна.

Кровь бросилась ей в лицо и отхлынула, но глаза смотрели прямо на Верховного. Он невозмутимо продолжал:

— Это необходимо, Прекрасный Цветок. Мы не можем позволить себе находить утешение в самообмане. Нет ничего, в чем ты не могла бы открыться мне.

Она вдруг спрятала лицо в ладони.

— Моя вина безмерна. Преступление столь тяжко, столь мерзко...

— Бедное дитя, бедное, бедное дитя!

— Чудовищные помыслы, неопишуемые...

Он был уже рядом с ней. Мягко успокаивал:

— Думать об этом — значит терзать себя. Забыть — значит освободиться. Пойдем со

мной, дорогая. Как две смиренные души, рука об руку, познавая весь глубокий трагизм человеческого существования.

Она рухнула перед ним на колени, закрыв лицо ладонями.

— Когда он сидел в ногах у Бога и рассказывал Ему о белых горах, плывущих по воде... о белом пламени; а он без теплой одежды, такой беспомощный и такой отважный...

— И тебе захотелось согреть его.

Она молча кивнула с жалким видом.

— И постепенно... тебе захотелось отдаться ему.

Его голос звучал словно отдельно от него, настолько, что странность, невероятность их разговора не ощущалась. Он вновь заговорил, все так же мягко:

— Какое же ты находила себе оправдание?

— Я представляла себе, что он мой брат.

— Зная все время, что он — чужой, как беглые люди в его рассказах.

Она глухо ответила из-под ладоней:

— Моему брату по Богу лишь одиннадцать лет. И то, что Болтун чужой... как ты сказал... могу я быть откровенной?

— Смелее.

— От этого моя любовь разгорелась еще больше.

— Несчастное дитя! Несчастливая, заблудшая душа.

— Что со мной будет? Чего мне ждать? Я нарушила главные заповеди.

— По крайней мере ты откровенно призналась во всем.

Подняв лицо, простерев к нему руки, она поползла, чтобы обнять его колени.

— Но потом... когда мы все же предались любви...

Ее руки не встретили его коленей. Он был уже в ярде от нее, отскочив с проворством человека, спасающегося от змеи. Стиснув поднятые к груди руки, Верховный смотрел на нее через плечо.

— Ты... ты и он... ты...

Она, широко раскинув руки и не сводя с него глаз, вскричала:

— Но ты сказал, что знаешь все!

Он быстрыми шагами отошел к парапету и невидяще уставился вдаль. Спустя минуту забормотал бессмысленно, беспомощно:

— Да. Вот так-так. Ну и ну. Ф-фу! Боже мой!

Наконец он пришел в себя и направился к ней — остановился чуть в стороне. Откашлялся.

— И все это, это — стояло между тобой и узаконенной страстью к твоему отцу.

Она промолчала. Он заговорил снова, громко, негодуя:

— И ты удивляешься, что река продолжает подниматься?

Но Прекрасный Цветок встала с колен. Воскликнула громко, как Верховный:

— Чего ты хочешь? Я думала, ты упражняешься в зале!

Верховный проследил за ее взглядом.

— Ты подслушивал, принц?

— Шпионил? — вскричала Прекрасный Цветок. — Скверный мальчишка! Для чего ты напаялил все это на себя?

— Мне так нравится, — ответил принц, дрожа всем телом, отчего украшения на нем звенели не переставая. — Я ничего особенного не слышал. Только то, что река поднимается.

— Ах, убирайся.

— Сейчас уйду, — быстро проговорил принц. — Я только хотел узнать, есть у кого-нибудь из вас веревка, честное слово...

— Вербка? Для чего?

— Ни для чего, просто так.

— Ты опять выходил за ворота. Посмотри на свои сандалии.

— Просто я подумал...

— Убирайся и скажи нянькам, чтобы почистили тебя.

Принц, все еще дрожа, повернулся, чтобы уйти, но Верховный сказал неожиданно повелительным тоном:

— Подожди!

Склонив голову в легком поклоне, словно испрашивая позволения у Прекрасного Цветка, он подошел к принцу и взял его за руку.

— Соблаговолите сесть, принц. Сюда. Прекрасно. Мы желаем получить веревку, и мы побывали за воротами. Ты предан ему, не так ли? Я начинаю понимать. И эти драгоценности — ну конечно!

— Я только хотел...

Прекрасный Цветок непонимающе смотрела то на Верховного, то на брата.

— О чем вы?

Верховный повернулся к ней.

— Это имеет прямое отношение к нашему разговору. Существует — но тебе необязатель-

но знать, где именно, — яма. Когда ты говоришь: «Бросьте его в яму»...

— Знаю, — нетерпеливо перебила она. — Какое это имеет отношение ко мне?

— Кое-какие ужасные причины наших бед мы устранить не можем. Но по крайней мере одну — в наших силах. Бог гневается на своего Болтуна и заставляет реку подниматься отчасти потому, что Болтун отверг дарованную ему возможность вечной жизни.

Прекрасный Цветок резко приподнялась в кресле. Пальцы ее стиснули подлокотники.

— Яма...

Он кивнул:

— Его Болтун все еще несет бремя ужасного, полного опасностей и злосчастий текущего Сейчас.

Верховный успел вовремя подхватить ее, заботливо усадил в кресло и принялся похлопывать по рукам, опять растерянно приговаривая:

— Вот так-так, ну и ну!

Оправившийся от испуга принц спросил:

— Теперь мне можно уйти?

Но Верховный не обращал на него внимания. Принц молча слушал, как Верховный отдавал распоряжения солдатам, стоявшим у вхо-

да, молча, хотя, может, с легкой завистью, наблюдал за тем, как лицо Прекрасного Цветка обретает с помощью рабынь прежнюю красоту. Низенькая древняя старушка внесла чашу и опустила на подставку возле кресла. Некоторое время все молчали; день клонился к вечеру.

Прекрасный Цветок откашлялась и спросила:

— Что ты намерен делать?

— Убедить его. Дозволь мне сказать кое-что, что поможет тебе; потому что тебе нужно быть сильной. Ты думаешь, что ты не такая, как все, неповторимая. И это, конечно, так — ты прежде всего неповторимо красива. Но эти смутные желания... — Он мельком взглянул на принца и продолжил: — Не одна ты обуреваема ими. В каждом из нас живет подспудное, невыразимое, болезненное влечение к... к... ты понимаешь, что я хочу сказать. К кому-то, кто не связан с нами кровным родством. Чужеземцу с его фантазиями. Разве не видишь, что такое эти фантазии? Бездна попытка освободиться от собственных темных желаний, дать им выход в игре воображения; потому что — по законам природы — они не могут быть осуществлены. Неужели ты полагаешь, что действи-

тельно есть где-нибудь на земле место, где люди, заключая браки, нарушают естественные границы рода? Да и где б они жили, куклы этих невероятных сказок? Представь себе на миг, что небесный свод был бы столь огромен, что покрывал и те земли. А! Подумай только, каков был бы его вес!

— Да. Это безумие.

— Наконец ты согласилась со мной. Он сумасшедший, чьи бредни пробудили — во всех нас — все сокровенное, невыразимое; сумасшедший, представляющий опасность для нас, пока не согласится прислуживать Богу.

Верховный перевел дыхание, повернулся, чтобы взглянуть на затопленную долину. Там, где среди разлива угадывалось речное русло, водовороты крутили и вертели пустую лодку.

— Понимаешь? Мы не можем позволить себе ждать, когда он выздоровеет. Если не удастся его убедить, — что мы, конечно, попытаемся сделать, — тогда придется его заставить.

Некоторое время они молчали. Прекрасный Цветок опять принялась плакать. Как ручей из скалы, бежали по ее щекам беззвучные слезы, окрашенные малахитовой краской. Река про-

должала подниматься. Принц время от времени позвякивал украшениями.

Внезапно Прекрасный Цветок прекратила плакать.

— Должно быть, я ужасно выгляжу.

— Нет, нет, дорогая. Ну, может, краска чуть-чуть размазалась. Тебя это не портит.

Она подала знак рабыням.

— Знаешь, Верховный? Это говорит о том, сколь глубоко я пала. Меня это почти не трогает. Не совсем, конечно, но почти.

Он взглянул на нее, озадаченно хмурясь.

— Ты говоришь о наводнении?

— Ну что ты — нет. Я имею в виду, как я выгляжу.

Рабыни удалились. Прекрасный Цветок устроилась в кресле и приняла решительный вид.

— Теперь я готова.

Верховный громко приказал:

— Приведите его.

Принц вскочил на ноги.

— Ну... я, пожалуй... пойду попою...

От кресла донеслось шипение:

— Оставайся на месте, крысеныш!

Принц снова сел.

За террасой послышался шум, в котором выделялся хорошо знакомый голос, не смолкавший, как всегда, но на сей раз звучавший на более высокой ноте. Два высоченных чернокожих солдата, на которых не было ничего, кроме набедренных повязок, волокли Болтуна. Они подтащили его ближе и поставили перед Прекрасным Цветком. Болтун замолк и уставился на нее. Она взглянула на него каменным взглядом, с виду безмятежная, как обитатель Дома Жизни, если бы только туника не вздымалась так порывисто у нее на груди. Болтун заметил принца, примостившегося на корточках у стены. Он дернулся в руках солдат и пронзительно завопил:

— Ты — предатель!

— Я не...

— Минутку, Болтун. — Верховный повернулся к Прекрасному Цветку. — Может быть, я сам?

Она хотела что-то сказать, но слова не шли с губ. Верховный поднял палец.

— Отпустите его.

Лоснящиеся от пота солдаты отступили от Болтуна. При этом они наставили на него копья, словно на зверя, пойманного сетью. Он

заговорил снова, захлебываясь, с отчаянием в голосе, глядя то на нее, то на Верховного.

— Это жестоко — заставлять меня пить яд. Вы можете сказать, это безболезненно, но откуда вы знаете? Вы что, сами когда-нибудь пили яд? Я знаю много секретов, которые будут вам полезны. Я даже могу остановить наводнение, но для этого мне нужно время, время! Никому не нравится чувство страха, ведь так? Это ужасно — испытывать страх, ужасно, ужасно!

Верховный перебил его:

— Мы тебя не пугаем, Болтун!

— Тогда почему, стоит мне умолкнуть, как я слышу стук своих зубов?

Верховный протянул руку к Болтуну — тот отшатнулся.

— Успокойся, дорогой мой. Ничего с тобой не случится. Во всяком случае, не сейчас.

— Ничего?

— Ничего. Передохни. Расслабься. Вот циновка, ляг на нее, устройся удобней.

Болтун недоверчиво смотрел на него; но Верховный лишь с улыбкой кивал ему. Искоса поглядывая на них, Болтун опустил на колено. Оглянулся, вздрогнул при виде копий

и медленно лег. Он свернулся на циновке, словно пародия на плод в утробе; но ни один плод не был столь напряжен и не дрожал, как этот. Ни один плод не оглядывался так испуганно.

Верховный посмотрел на вздувшуюся реку и вздрогнул, как Болтун перед этим от вида копий. Было заметно, что он старается взять себя в руки.

— Так, Болтун. Ничего не бойся. У нас уйма времени.

Он увидел немигающий глаз, смотрящий настороженно, как краб из-под камня.

— Закрой глаза. Расслабься.

Веки сомкнулись, быстро распахнулись и сомкнулись снова, оставив поблескивающую щелочку. Верховный вкрадчиво заговорил:

— Давай представим что-нибудь реальное.

Болтун дернулся и мелко задрожал.

— Смерть. Убийство. Жажда. Яма.

— Нет! Нет! Что-нибудь нежное, мягкое, уютное.

Блестящая полоска под веками задрожала, расширилась и исчезла. Зародыш на циновке пробормотал:

— Ветерок на щеках. Прохлада.

— Хорошо.

— Падают белые хлопья. Горы в белых одеждах...

— Опять ты за свое! Я сказал — реальное!

— Белые люди. Безупречные, белокожие женщины — слоновая кость и золото... все иной крови... и такие доступные... О, доброта чужеземной женщины у ее очага!

Верховный, нервы которого были напряжены до предела, сдавленно хихикнул и посмотрел с извиняющимся видом на Прекрасный Цветок. У той опять неровно вздымалась грудь.

— Слушай меня, Болтун. Теперь ты спокоен, и я хочу в последний раз воззвать к твоему великодушию. Ты дорог Богу. Он гневается оттого, что ты не идешь к нему. Прими дар вечной жизни — ради всех нас!

Болтун взвизгнул:

— Нет!

— Подожди. Мы понимаем, что ты болен и тебе ни до кого нет дела. Поэтому, чтобы ты помог нам, мы поможем тебе, если ты будешь великодушен, мы будем великодушны тоже. Ты получишь все, как Он.

— Хотите подкупить?

Но Верховный не слушал его. Он расхаживал вокруг Болтуна, который следил за ним, поворачивая голову, как змея.

— Подумай, даже это, возможно, не все. После того, что я недавно тут услышал, Он может прийти в такой гнев, что... но мы должны сделать, что в наших силах. Неужели ты подумал, что мы просим тебя присоединиться к тем, другим, в боковых помещениях, и лежать там, спекишься от жары. О, конечно же нет! Мы отвалим камни, уберем бревна...

— О чем ты?

— Ты будешь лежать рядом с самим Богом. Не меньше чем в трех гробах, и последний будет сделан из того материала, какой ты укажешь, и со всем богатством украшен...

Болтун поднялся на колени. Опять завопил:

— Дурак старый!

— погоди, и это не все! Мы вскроем тебя и удалим внутренности. Выкачаем через ноздри мозг и наполним череп благовонным маслом...

Верховный, увлекшись, описывал руками широкие круги. Болтун обхватил себя за бока и ухал, как бешеная сова.

— ...о твоих заслугах перед людьми будет высечено в камне...

Принц вскочил на ноги с криком:

— Да, да, да!

Болтун прекратил ухать и заговорил, все больше ожесточаясь:

— Клочок земли размером не больше крестьянского поля... горстка обезьян, выброшенных на берег человеческим морем... слишком невежественных, слишком самодовольных, слишком недалеких, чтобы признать, что мир не ограничивается десятью милями реки...

— Ты утопишь всех нас!

— Ну и тоните, если у вас не хватает разума, чтобы спастись от наводнения в скалах...

— Мы тебя умоляем!

— Я, загнанный, приговоренный, — единственный разумный человек в этой, этой...

Он метнулся к Прекрасному Цветку и схватил ее за щиколотку.

— Неужели ты не понимаешь? Твоему брату всего... сколько ему... десять? У тебя вся власть... вся власть! Власть! Хочешь, чтобы он стал твоим супругом? Этот сопляк...

— Убери руки!

— Да он лучше станет девчонкой. У тебя есть солдаты... у тебя, одной из дюжины правите-

лей на этой реке, есть уже какое-то подобие армии...

У Прекрасного Цветка перехватило дыхание. Она закрыла лицо ладонями, смотрела сквозь пальцы на его глаза и не могла оторваться. Болтун заговорил снова:

— Ты хочешь себе такого супруга?

Она открыла было рот. Руки, вцепившиеся в подлокотники, поползли назад. Костяшки пальцев побелели. Она отвела от него взгляд, посмотрела на улыбавшегося принца, на чашу, стоявшую на подставке.

— У тебя есть подобие армии. И ты задумываешься, что тебе делать?

Верховный подал голос:

— Мы знаем, что делать.

Но, словно увидев в Прекрасном Цветке надежду для себя, защиту или даже ощутив некую власть над ней, Болтун встал перед нею и заговорил, словно Бог:

— Кто в этой стране восседает на троне, тот и делит с тобой ложе, необыкновенная и прекрасная женщина. Он мог бы жечь огнем берега этой реки от истока до устья, пока люди, живущие на них, не стали бы поклоняться твоей красоте.

— Кому в целом мире, — сказал Верховный, — взбрело бы в голову подобное? Я же говорил: ты сумасшедший!

— Я не сумасшедший. Во мне нет ни лживости, ни порочности.

Прекрасный Цветок вскричала:

— Ни порочности? После всего, что ты говорил о чужестранках?

Болтун широко развел руки.

— Неужели ты не понимаешь? Нет, никто из вас не понял! В этой стране дураков есть только один человек, которому доступна любая — любая женщина, — это Высокий Дом, Бог!

Прекрасный Цветок встала, прижав ладони к щекам. Но Болтун отвернулся от нее и с ненавистью и презрением смотрел на Верховного.

— Даже ты не понял, умник... сколь нелепо, что эта женщина, эта девушка, эта красавица... которая желает меня... не принадлежит мне.

Он наставил палец на Верховного.

— *А если я буду Высоким Домом?*

На мгновение кровь отхлынула от темного лица Верховного. Он отступил на три шага от Болтуна.

— Солдаты, убейте его!

Солдаты двинулись вперед, подняв копья. Болтун мигом потерял величественный вид. И, словно страх и ненависть заставили его действительно почувствовать себя богом, совершил нечто невероятное и мгновенное. Он нырнул вперед и в сторону, развернулся. Солдаты проскочили мимо и еще не успели остановиться, как один из них, получив подножку, оказался на полу, а его копье — в руках Болтуна. С неуловимой быстротой жало копья поразило солдата в шею. Второй солдат повернулся как раз вовремя, чтобы встретить то же острие. Он схватился за грудь и мешком свалился на пол. Еще он не коснулся пола, как Болтун обернулся к Верховному, который кричал что есть мочи:

— Лучники!

Копье Болтуна делало завораживающие зигзаги у груди Верховного, который не смел пошевелиться. Не переставая говорить, Болтун перебежал террасу и вскочил на парапет. Он обернулся в тот момент, когда показались солдаты с луками, не готовыми к стрельбе. Он метнул копье, и первый лучник упал, так и не размотав кольцо свернутой тетивы. Все время, пока

тело Болтуна совершало эти невероятные действия, его лицо оставалось испуганным, а язык трещал не умолкая. Он говорил даже тогда, когда прыгнул с парапета вниз. Он погрузился в воду и там, наверно, продолжал говорить; и только когда он вынырнул, делая широкие гребки, на поверхность, было непонятно, говорит он или нет, из-за суматохи, царившей на террасе. Стрелы вонзались в воду вокруг него и, выныривая вверх оперением, плыли по волнам.

В Верховном произошла перемена. Он стоял, положив руки на живот и глядя одновременно вдаль и в себя. Потом опустился на одно колено. Глаза его смотрели потерянно. Лицо съежилось и постарело.

Принц тоже не был похож на себя. Он не замечал мертвых и умирающих. С сияющей улыбкой на лице он говорил Прекрасному Цветку, которая не обращала на него внимания:

— Тогда не имело бы значения, что я плохо вижу, и мне не нужно было бы становиться Богом, ведь так?

Верховный, прижавшись щекой к полу, простонал:

— Душа кровоточит. Он жалит, как скорпион.

Далеко от них, доступный разве что случайной стреле, Болтун выбрался из воды на стену, которая, подобно узкой тропинке, вела к макушкам торчащих среди стремнины пальм. Он обернулся назад, балансируя руками, словно разыгрывал в беззвучной, неуверенной пантомиме сценку борьбы за жизнь. Лучники с опустошенными колчанами стояли у парапета и оглядывались, ожидая приказов Прекрасного Цветка. Но она, с воздетыми руками, приоткрыв рот, все не могла отвести глаз от Болтуна.

Верховный заключил — непреерекаемо, со знанием дела:

— Им владеет желание смерти.

Принц расплылся в нелепой ухмылке.

— Можно теперь я выпью чашу?

Прекрасный Цветок рассеянно ответила:

— Подожди, малыш.

Она устремилась к парапету.

— Желание смерти. И все-таки...

Лучники ждали, поглядывая на нее. С ней тоже произошла перемена. Тело ее стало округлее, полнее, потеряло угловатость. Глаза и волосы приобрели блеск. Щеки, плоские прежде, налились упругостью. Она сияла, она све-

тилась, она, словно благовонная эссенция была заключена в сосуде ее тела, расточала вокруг аромат возбуждения. На упругих щеках играл румянец и ямочками обозначилась улыбка. Она воздела руки к небу, раскрыв окрашенные хной ладони, — жест для минуты откровения.

— Все-таки... лучше нам пойти и успокоить Бога.

Клонк-клонк

I

Пальма слушала Пчел, в улыбке — одобрение, чтобы их не покидало ощущение счастья. Никто не болел, да и пчелы возвращались из леса и с равнины с медом. В нем можно было почувствовать привкус равнины, ее пряный аромат. Да, пчелы были хорошим подспорьем. Поулыбавшись сколько требовалось, она опять обратила улыбку к площадке, расположенной между рекой и тростниковыми хижинами, навесами и шалашами у подножия невысоких гор. Место, которое дети выбрали для игр, было в этот час

раскаленным и пыльным, но не настолько, как в полдень. Она сразу увидела, что жара уже подействовала на детей: игра двух мальчишек больше походила на драку, и, только заметив ее, они отпустили друг друга. Мальчуган — совсем еще ребенок — заковылял к ней, протягивая кулачки с зажатými в них птичьими яйцами.

— Умница, — похвалила она его. — Умница!

Она потрепала его по голове и зашагала дальше. Было время дневного сна у детей, но многие никак не могли уgomониться. Две девчонки, размахивая палками, вышагивали вокруг троих мальчишек помладше и воинственно кричали:

— Pa! Pa! Pa!

Один мальчишка был уже весь красен и плакал. Двое других, опустив головы, ковыряли палками в пыли. Девчонки поднимали палки, но, завидя Пальму, захихикали и опустили их, отверли глаза в сторону и стояли, почесывая ногу о ногу. Проходя мимо, она спокойно сказала им:

— Пойдите поиграйте где-нибудь еще, хорошо?

Места для игр тут было предостаточно, и детей собралось множество — мальчишки швыряли камни или боролись, девочки возились с

куклами, прыгали через веревочку или болтали. Пальма всех одаривала улыбкой. Она дошла до горы и стала подниматься по склону.

Грибовидная шапка пара над Горячими Источниками растаяла под утренним солнцем. Легкий туман еще висел над вершиной, где бурлила пробивавшаяся на поверхность горячая вода. Склон же, по которому горячий ручей сбегал вниз, постепенно охлаждаясь в веренице небольших круглых, как блюдца, заводей, пока внизу не встречался с рекой, был чист от тумана. И все же стоило подняться хотя бы чуть выше того места, где играли дети, и в воздухе начинала ощущаться свежесть, словно ветерок струился с горы, а не прилетал с равнины. Она сразу решила, что искупается не там, где обычно, а на одну заводь выше. Она предвкушала, как долго-долго будет лежать в воде, потому что плечо у нее слегка побаливало, и она надеялась, что горячий источник ей поможет. Пальма взбиралась по склону, и болезненное ощущение в плече почти не сказывалось на ее горделивых, изящных движениях. Шелестела ее длинная юбочка из травы, пальцы босых ног цеплялись за неровности источенного временем гранита. Тем не менее она вынуждена была

признаться себе, что сердце непривычно колотится в груди. На середине склона она остановилась, поплескала рукой в воде, как бы проверяя, насколько та горяча, или словно отгоняя опавший лист или букашку. Потом выпрямилась, обернулась назад, оглядывая подножие горы с таким видом, будто это обычное для нее дело — останавливаться в этом месте, а не тогда только, когда поднимется на самую вершину к бурлящему источнику.

Женщины работали в роще, хлопотали в женской деревне. Отсюда их не было видно, но слышались их голоса, взрывы смеха. Там, где роща кончалась и ручей, бегущий от Горячих Источников, встречался с рекой, молодые девушки, идучи по пояс в воде, тянули сеть. Она видела, как мелко кипит, словно ее сечет дождь, убывающая вода в сети, и поняла, что улов будет богатый. Трудились женщины и у соломенных ульев. Вдоволь еды, смеющиеся девушки, множество детей, две матери, кормящие среди камней младенцев грудью, еще одна, родившая недавно, — вон сестры осторожно провожают ее под навес, в тень, — горячие источники, неизменная приятная жара...

Она все чаще повторяла себе, как сейчас:

— Слишком много у нас еды. Мяса, может, недостает, зато сколько душе угодно рыбы, птичьих яиц, меда, съедобных корней, и листьев, и побегов...

Она потрогала круглившийся над травяной юбочкой живот. Удрученно улыбнулась себе:

— А поесть я люблю.

Да, старею, подумала она. В этом все дело. Не вечно же быть красивой.

Она опять полезла вверх по утоптанной тропке вдоль заводей, среди камней, сверкавших белыми и зелеными вкраплениями. Чем выше она поднималась, тем горячее становился воздух. Голоса женщин и детей едва доносились, а вскоре и вовсе потонули в плеске, бульканье и блюмканье kloкочущего источника на вершине горы. У источника стояла на небольшом плоском камне девочка. Тонкая, в короткой, до колен, травяной юбочке. Длинные черные волосы туго накручены на маленькие палочки. Широкое некрасивое лицо сияло очарованием юности. Завидев Пальму, девушка оживилась и, смеясь, показала рукой в сторону равнины.

— Это было вон там. Как раз между двумя горами.

— Ты уверена, девочка? Ведь, ты знаешь, бывает, что иногда просто горит сухая трава.

— Это был костер... Пальма.

Девочка запнулась, еще смущаясь обращаться к ней как взрослые женщины. Но Пальма не смотрела на нее. Покусывая губы, она пристально глядела вдаль, на равнину.

— Значит, они будут охотиться в той стороне, у холмов, — где начинается высохший овраг. Думаю, вечером ты увидишь огонь их костра вон там. Конечно, если только они не передумают, не испугаются чего-нибудь, не передерутся или еще что.

Девочка хихикнула:

— Или еще что!

Пальма с улыбкой посмотрела на нее:

— Так что их не будет целых два дня. Можешь снять с головы свое «украшение».

У девочки отвис подбородок. Вид у нее был расстроенный.

— Два дня?

— А то и побольше. — Пальма заглянула ей в глаза. — Грозный Слон, я права?

— О нет... Пальма. Это раньше он был Грозный Слон, а теперь его зовут Свирепый Лев.

— Ну да, а до Грозного Слона его звали Деловитый Шмель. Хотя тогда он был куда моложе. Ты вряд ли помнишь.

Девочка изменилась в лице. Неопределенно пожала плечом и хихикнула:

— Ты ведь знаешь, какие они... Пальма!

— Еще бы. Очень хорошо знаю. Так что будь поосторожней!

— Я уже взрослая, — с торжественным и гордым видом ответила девочка.

Пальма согласно кивнула и собралась уходить.

— Пальма...

— Что такое?

— Старик Леопард...

— Который из них, девочка? У нас ведь их трое.

Девочка показала на склон.

— Вон тот, внизу.

Пальма глянула, куда показывала девочка, и увидела среди камней лысую голову, мосластые плечи и тонкие кривые ноги.

— Я не знаю его имен, — частила девочка сбоку. — Но он уже... о, он уже целую вечность сидит и не двигается! А как дышит! Он, наверно, опять наш. Снова ребенок. Правда?

— Молодец, что заметила его. Я займусь им. А ты оставайся. И будь внимательна!

Она стала спускаться не той тропкой, какой поднималась, а в другом месте, направляясь к лысой голове старика. Жилище Леопардов было совсем рядом. Бедняга, сил не хватило, а дойти-то осталось несколько шагов! Пальма спускалась со всей осторожностью, и по ее сосредоточенному виду можно было понять, каких усилий это ей стоило. Но когда она подошла к старику, который лежал опершись спиной о скалу и вытянув перед собой ноги, ее лицо смягчилось. Руки старика беспрестанно теребили кусок вытертой и грязной леопардовой шкуры, прикрывавший бедра. Из приоткрытого рта тянулась струйка слюны, дыхание было прерывистым. Она опустилась рядом на колени и положила ладонь ему на лоб. Заглянула в глаза, в которых стояла пустота, улыбнулась с бесконечной добротой и тихо сказала в отрешенное лицо:

— Хочешь спать?

Потом вскочила на ноги, подошла ко входу в жилище и, нагнувшись, крикнула в полутьму:

— Там человек, бедный старик — как же его зовут? Юркий Угорь, кажется. Точно, вспом-

нила, а еще Огонь и Оса. Нужно помочь ему, прямо сейчас.

Она выпрямилась и пошла обратно к заводам. Занятая своими мыслями, вскоре она забыла о старике. Ей нравился этот час, когда день достигал зенита, и приятные мысли и ощущения переполняли ее. Эта чудесная девочка, которая там сторожит, как она мила, как помолодому нетерпелива... ах, горячая вода... вот искупаюсь и... у нас по крайней мере два дня в запасе... напиток в изобилии, бодрящего, крепкого...

— А выпить я люблю, — сказала она вслух, сокрушенно, как раньше о еде.

Вырвались у нее эти слова, и тут же она вспомнила о том, о чем Пчелы, дети, сторожевая площадка на вершине горы и старик Леопард помогли забыть на время. Неприятное ощущение в плече. Оно переросло в боль, вытеснило остальные мысли, и лишь усилием воли ей удалось удержать на лице обольстительную улыбку. «Я приятно улыбаюсь — как кошка, жующая целебную травку!» — подумала она.

Так она стояла, стараясь обольстить улыбкой воду, в страхе, что вода не оправдает надежд и не вылечит плечо. Она посмотрела на

вереницу заводов, уходящих наверх, к прозрачному туману над вершиной горы, на другую гору за нею, окутанную облаками испарений. Облака вздымались огромными клубами, образованные струями пара, которые тут и там вырывались из пятен красного и желтого налета на черном граните проталин в снежных шапках вершин. Ей почудилось, что горы смотрят на нее. Она спрятала лицо в ладони, но тут же заставила себя взглянуть на горы — не подобает отводить глаза, если ты не просто Пальма, но Та, Кто Дает Имена Женщинам; и горы снова стали обыкновенными горами, и боль вернулась.

— Я еще достаточно молода, чтобы иметь ребенка. Может быть, когда мужчины вернутся...

Она метнула взгляд по сторонам, но никого из мужчин поблизости не было — даже какого-нибудь дряхлого Леопарда, только и способного, что лежать, подремывая, на солнышке, даже какого-нибудь мальчишки, который мог бы запомнить, что сказала Дающая Имена Женщинам. Никого не было, кто мог бы услышать ее. Она отняла ладони от лица и полезла по склону к заводи.

Они располагались немного, может быть на локоть, одна выше другой. Вода, наполняя до

краев верхнюю, переливалась тонкой струйкой через гладкий каменный край в нижнюю, и так до самого подножия горы. Временами струйка становилась толще и бежала быстрее, как бы по изменчивому настроению недр; но всегда заводи были полны. Это многоводие радовало Пальму, которая воспринимала полные до краев заводи как богатство, изобилие, как щедрость источников. Она была благодарна воде без того, чтобы относиться к ней как к живому существу. Вода манила, звала окунуться. Пальма развязала тесемки травяной юбочки, и та упала к ее ногам. Потом, приподняв на шее распущенные волосы, сняла бусы из гремящих раковин. Положив их на камень, она не поспешила сразу же погружаться в целительный жар воды, но опустилась на колени, отбросила длинные пряди волос на спину и заглянула в нижнюю, более прохладную заводь. Повернулась так, чтобы на нее падало солнце, и, затаив дыхание, стала всматриваться в лицо, что всплывало к ней из темной глубины.

— Я красива.

Длинная прядь, упав, коснулась воды, и рябь исказила отражение. Пальма отвела волосы назад и снова вперилась взглядом в воду. Черные

огромные глаза, чистый овал лица. Она коснулась пальцами щеки и ощутила нежность кожи — ощутила и невидимые в отражении намечающиеся морщинки в уголках рта, морщинки на шее, скрытые обычно бусами.

— Я все еще красива. А это — пустяк.

От рощи и женской деревни донеслись голоса и смех девушек. Детей не было слышно, они спали в тени навесов. Дающая Имена Женщинам живо вскочила, взобралась, миновав три заводи, повыше и осторожно попробовала воду ногой. Затем, закусив губу, шагнула. Села на корточки в воде, такой горячей, что по ее телу тут же потекли струйки пота. Так она сидела некоторое время, вся сжавшись, заставляя себя терпеть, пока тело не привыкло к обжигающей воде и можно было наконец расслабиться. Она легла на спину, а голову положила на камень, предназначенный для этого. Волосы веером рассыпались по воде; и медленно всплыло тело, светло-бронзовое в прозрачной влаге. Она невесомо покачивалась, лишь голова ощущала твердую опору. Ее стройное тело, едва прикрытое водой, было воплощением женственности. Она сомкнула веки. Окружающее исчезло, время будто остановилось.

В одном из шалашей громко заохала женщина. Пальма открыла глаза и сразу вернулась к действительности. Скоро принимать роды. Судя по животу, будет, похоже, девочка. Но кто бы ни родился, надеюсь... надеюсь, все пройдет хорошо. Не люблю, когда...

Болезненное ощущение опять вернулось, разлившись теперь по всему плечу, глубокое и необъяснимое — как вода. Пальма села, отвела со лба мокрые волосы. Скорчившись от боли, она смотрела сквозь пар, поднимавшийся от воды, на белую голову и темные плечи горы, смутно вырисовывавшиеся в тумане, который обволакивал вершину. Бывает, размышляла она, гора глядит в небо, словно не замечая нас; а бывает, в упор смотрит вниз — и тоже будто не замечает!

Она содрогнулась всем телом, подняв брызги.

— Гора — это всего лишь гора! Пальма, выдумываешь невесть что, ты же не мужчина!

Она проворно окунула голову, выпрямилась, и горячие струи потекли по лицу и волосам. Потом занялась собой: привычно массировала пальцами лоб и щеки, но мысли ее были заняты другим. Все идет как идет, можно радоваться или печалиться, можно быть безразличным, когда

думаешь, что ждет впереди, но что толку переживать из-за того, что уже случилось.

Все равно от этого никуда не денешься.

Она встала, перешагнула в заводу пониже, где вода была прохладней, окунулась целиком, вышла на сушу и села на солнышке, чтобы обсохнуть. Наклонив голову, принялась тщательно расчесывать пальцами волосы. Чувства чувствами, но голова должна быть в порядке, волосок к волоску. Теперь зачесать волосы назад, смазать лицо, подровнять ногти подходящим камушком.

— Пальма! Пальма!

Кричала девочка, оставленная на горе сторожить. Она прыжками неслась вниз, балансируя руками, юбочка ее развевалась.

— Пальма! Ой, Пальма!

Ну вот, подумала Пальма, научилась звать меня по имени и теперь будет вставлять его при каждом удобном случае! Она засмеялась и поцеловала девочку.

— Ну что заладила: «Пальма! Пальма! Пальма!», я ведь не роща пальмовая!

— Я их видела!

— Неужели возвращаются? Так скоро? Не может быть!

— О нет! Конечно нет, Пальма. Они уходят дальше. Совсем далеко! Я бы и не увидела их, но... — Она хихикнула. — Они полезли на дерево!

Пальма тоже засмеялась:

— Что, все полезли? За орехами? Или показать свою ловкость?

— Я разглядела только одного — очень высоко на дереве.

— Значит, он полез за птичьими яйцами.

— Тебе лучше знать, Пальма.

Одной рукой Пальма отвела волосы от лица, а другой потрепала девочку по щеке.

— Молодец, хорошо смотришь... — она напрягла память, — Уклейка. В конце концов, для того ты там и стоишь, верно? Ну-ка, помоги надеть юбку.

— Может, это был Свирепый Лев? Не уверена, слишком они далеко. Как ему, наверно, весело!

Дающая Имена Женщинам уже надевала бусы.

— Приятно думать, что они там не скучают. Я только надеюсь, что они не забыли о деле! Хорошо. Я поднимусь с тобой и посмотрю сама. Иди вперед.

В деревне опять закричала роженица. Теперь уже недолго, подумала Пальма. Лишь бы...

Уклейка уже стояла у бурлящего источника и, прикрыв ладонью глаза от солнца, вглядывалась в даль. Она ничуть не запыхалась.

— Вон там, — показала она. — Видишь большое дерево, Пальма? С сухой веткой на макушке? Он как раз там, где этот сук торчит из листьев.

— Нет, ничего не могу разглядеть, — ответила Пальма. — Но если они ушли так далеко, значит, скоро не вернуться. Можешь больше не сторожить. Только поднимись сюда на закате и посмотри, где они разведут костер на ночь.

Уклейка робко взглянула на нее.

— А если они... ну, если они узнают?

— Не узнают.

Пальма посмотрела на жилище Леопардов. Оно было открыто небесам, а значит, и смотрящему сверху, от источника. Ряды леопардовых черепов белели на солнце. Она улыбнулась, улыбка перешла в долгий заразительный смех. Уклейка не удержалась и тоже засмеялась. Смех сблизил их, сделал сестрами-погодками.

Пальма первая остановилась.

— Мы, конечно, ничего не станем устраивать, пока ребенок не родится. И даже потом. Только если у него будет имя.

Уклейка посерьезнела.

— Понимаю.

Пальма улыбнулась и, наклонившись, коснулась ее губ легким поцелуем. У девочки перехватило дыхание; вспыхнув, она отпрянула от Пальмы. Пальма начала спускаться, грациозно покачивая станом и балансируя руками. Стены жилища Леопардов выросли перед ней, скрыв блестящие на солнце черепа. В этот раз, подумала Пальма, буду осмотрительней! Выпью самую капельку! Но в тот же миг, словно вызванный этой ее мыслью, перед глазами у нее возник, как живой, сосуд из половинки кокосовой скорлупы, полный темной влаги. Она даже почувствовала ее запах. Щеки у Пальмы порозовели, в горле перехватило, как только что у Уклейки. Это мой дар видения, подумала она, я не такая, как все. Это у меня от рождения; ни одна из Дающих Имена Женщинам не смогла бы проникнуть мне в душу и понять это, это...

Старика Леопарда не было на прежнем месте. Дети спали. Пальма стояла на площадке,

где они всегда играли, — изящная фигурка, излучающая доброту, — и по ее лицу блуждала прелестная улыбка.

II

Высоко в кроне огромного дерева, на конце голого сука чернело гнездо, сооруженное из прутьев, между которыми застряли ключья шерсти, обрывки шкурок. На краю гнезда трепетал на ветру пучок красных перьев. К нему-то и подбирался один из Леопардов. Одежды на нем было не больше, чем листьев на суку, — лишь узкая набедренная повязка из шкуры леопарда да такой же мешок, болтавшийся между ногами. Остальные Леопарды стояли под деревом, глядя вверх и смеясь. Всякий раз, как Лесной Пожар соскальзывал с сука, рискуя упасть и сломать себе шею, раздавался дружный хохот. Стоявшие внизу смеялись до изнеможения, хватаясь друг за дружку, утирая слезы и приседая. Но когда он снова пытался продвинуться вперед, они замолкали и следили за ним затаив дыхание. Они стояли в вольных позах; каждый держал в руке копье с обожженным над кост-

ром наконечником. Среди них были и совсем еще мальчишки, но большинство, так, во всяком случае, казалось, — стройные юноши со светло-бронзовой кожей. По виду было почти невозможно определить их возраст. Пожилые выделялись лишь проблеском седины в волосах. Правда, они были лучше вооружены, щеголяли более богатой татуировкой и носили больше разных украшений, чем тот же Лесной Пожар, вцепившийся сейчас в свой сук, но на этом их различие кончалось; они, по существу, были так же наги, как он, — люди с угловатыми и гладкими, без морщин, но в шрамах лицами, черноглазые и черноволосые, с покрытыми пылью босыми ногами. Не было у них и бород — только жиденькая растительность на верхней губе и подбородке.

Лесной Пожар находился уже прямо под гнездом. Обхватив сук ногами и рукой, прогнув спину, он другой рукой пытался дотянуться до красных перьев. Возбужденные Леопарды подались вперед и затаили дыхание.

— А-ах!.. — одновременно вырвалось у всех.

Лесной Пожар схватил красные перья и сунул их за пояс. Леопарды уже было раскрыли рты, но вместо их радостных воплей раздался

громкий клекот и с неба на смельчака обрушились громадный клюв и вихрь перьев и крыл. Миг — и на конце сука под гнездом все смешалось: коричневые руки и ноги и коричневые крылья. Вниз летели перья, капала кровь. Затем наступила тишина. Лесной Пожар с искаженным лицом с силой крутил обеими руками шею птице. Алая кровь змейками струилась по его телу. Издав громкий вопль, он отшвырнул мертвую птицу вниз, в листву. Леопарды откликнулись радостным смехом, хлопая себя по ляжкам, и гурьбой бросились к подножию дерева. С победным криком Лесной Пожар соскользнул с дерева, цепляясь за ветки. Сломанные сучки, листья и куски лишайника тучей сыпались впереди него. Он повисел, раскачиваясь на последней ветке, потом разжал руки и, пролетев по воздуху последние десять футов, был подхвачен товарищами. Молодые и взрослые, сияя, окружили его. Юноши принялись обнимать и целовать, не обращая внимания на то, что пачкаются его кровью. Звучали смех и возбужденные голоса.

Лесной Пожар вырвался из объятий и кричал громче всех:

— Алое перо Свирепому Льву!

- Мне? Ах, друг!
- Алое перо Бешеному Носорогу!
- Ты лучший из нас!
- Алое перо Разящему Орлу!
- Как я тебя люблю!

Лесной Пожар вздрагивал от не прошедших еще напряжения и возбуждения. Леопарды одобритительно хлопали его по плечу, спине, целовали. Вдруг Лесной Пожар замолчал, ощупал пояс и уставился на свои пустые руки. Челюсть у него отвисла. Он взглянул туда, где на голой земле под деревом лежали его оружие и украшения. Скрипнул зубами. Схватил копье и с силой вонзил в ствол дерева.

- Лесному Пожару не осталось алого пера!
И разразился слезами.

Юноши окружили его, стараясь успокоить песнями и ласковыми словами. Лесной Пожар шмыгал носом и глотал слезы. Свирепый Лев обнял его за шею, поцеловал и сунул в руку алое перо.

- Вот, Лесной Пожар, тебе алое перо!
- Нет, нет! Не хочу!
- Вот тебе еще перо...
- И еще...

— Я хотел, чтобы у вас были перья. Когда я увидел их, то сказал себе: вот перья для Свиного Льва, и Бешеного Носорога, и Разящего Орла...

— У Лесного Пожара бусы из алых ягод...

— У Лесного Пожара ножные браслеты из алых ягод...

— Лесному Пожару — алые перья!

— Нет, нет. Не в этот раз. Вы правда хотите?..

— Наклони-ка голову...

— Вы уверены, что так надо? Не потому отдаете, что я сдуру расплакался?

— Воткнем их спереди, вот так!

Лесной Пожар задрожал и засмеялся сквозь непросохшие слезы. Поднял с земли и надел на шею бусы из красных ягод, на лодыжки — такие же браслеты. Разящий Орел снял с плеча трехструнный инструмент и запел, подыгрывая себе:

Лесной Пожар спалил дерево от корней

до вершины!

Лесной Пожар вырвал красные перья у солнца!

Лесной Пожар высоко подпрыгнул на месте. Потом побежал по широкому кругу голой земли под деревом, подскакивая и размахивая

руками, будто крыльями, кренясь на бегу, как нападающая птица.

— Смотрите на меня! Я умею летать!

— И я умею летать!

— И я!

Он остановился, подскакивая на месте и продолжая размахивать руками.

— Смотрите на меня! Я — прекрасная птица!

— Он — прекрасная птица!

— Я — прекрасная птица! Смотрите на меня!

Слушайте меня! Любите меня! Я — прекрасная птица!

Он пригнулся, подражая орлу, падающему на добычу, и подлетел к Старейшему.

— Я — Прекрасная Птица?

Старейший обвел всех взглядом; лицо его было строго. Поднял копье. Все торжественно повторили его движение. Воцарилась тишина. Старейший опустил голову. Лесной Пожар стал на колени.

Старейший медленно положил копье ему на плечо и возгласил:

— Прекрасная Птица!

Прекрасная Птица с сияющим лицом встал с колен, плача и смеясь от счастья. Разящий Орел обнял его за плечи и поцеловал.

В наступившей тишине послышалось отдаленное гуканье и повизгивание. Леопарды как один повернули головы на звуки и стали пристально вглядываться в высокую траву равнины, гуканье приближалось, трава зашевелилась — это стая шимпанзе возвращалась под тенистый полог дерева. Молодые обезьяны увидели людей и пронзительно завизжали. Самки с детенышами бросились назад и скрылись в траве. Молодые шимпанзе принялись подпрыгивать, угрожающе оскалив клыки. Леопарды стали в боевую позу. Вожак стаи поднялся на задние лапы, по плечи высунувшись из травы, показал клыки и злобно заворчал. Леопарды захохотали и замахали копытами. Вожак начал подсакивать, рыча и колотя лапами по земле. Молодые Леопарды со смехом передразнивали его. Но старшие стояли спокойно, положив копыта на сгиб руки и снисходительно улыбаясь выходкам молодежи. Вожак перестал прыгать и медленно и неуклюже заковылял на задних лапах прочь сквозь высокую траву. Только зайдя в нее по плечи, он опустился на четвереньки и вразвалку удалился за стаей.

Когда шимпанзе скрылись из виду и напряжение спало, вновь раздалось пение и смех.

Старейший взглянул на свою короткую тень, едва выступавшую за пальцы ног. Потянулся и скривил челюсть в чудовищном зевке. Остальные как по команде тоже принялись зевать и побрели к подножию дерева. Каждый говорил что-то, мало слушая других.

Это были речи, в которые Пальма или Ук-лейка не подумали бы вникать. Они бы поняли, будучи женщинами, что смысла в их словах нет ни капли. Это было не более чем выражение эмоционального состояния, так что каждый из Леопардов говорил или пел ни для кого — для собственного удовольствия. Движения тела, песня, вылетавшая из гортани, были неким сообщением, одновременно общим и неопределенным, как и мысли, его родившие. В нем были и насмешка над шимпанзе, и радостное предвкушение полуденного сна и любви — любви, столь же бессознательной, как сон. Один снял с плеча свой инструмент — лук, на котором были натянуты три тетивы, другой — легкий барабан. Все как попало побросали оружие на землю возле отходящих от дерева высоких корней и уютно устроились, старые и молодые, на естественном ложе, так что, казалось, дерево у подножия оделось кружевом из смуглых и гибких

тел. Узорчатая тень скользила по ним. Пение постепенно стихло, сменившись нежным бормотанием и тихим воркованием, с которым они принялись обниматься и ласкать друг друга. Долго они тешились любовью, но вот жара и усталость сморили их, и они погрузились в сон.

Но спали не все. Один юноша не стал искать себе место в тесной массе тел. Но он и не избегал товарищей, не перешел на другую сторону дерева, где было свободно. Вместо этого он сел у самых ног отдыхающих и, уткнув подбородок в колени, время от времени молча поглядывал по сторонам и осторожно трогал лодыжку, на которой красовалась огромная шишка, а под ней, на ступне, темный продолговатый синяк. Юноша то поглаживал опухшую ногу, то растирал ее, перебегая взглядом по лицам охотников, которые или занимались любовью, или засыпали, открыв рты и похрапывая. Разок юноша ткнулся сваявшейся бородкой и усами в колени и прикрыл глаза; но вскоре разлепил веки и опять украдкой взглянул на товарищей.

Прекрасная Птица лежал, прижавшись к мальчику, чья голова покоилась на его согнутой руке. Он приоткрыл сонные глаза, увидел

сидящего и усмехнулся. Так же сонно показал ему язык, набрал воздуха и тихонько запел:

— Нападающий Слон хлопнулся носом перед антилопой!

Сонное общество задвигалось, слышалось фырканье, смешки, впрочем, ленивые, как над порядком надоевшей шуткой. Мальчик, лежавший с Прекрасной Птицей, усмехнулся, глядя на юношу с распухшей ногой, и тесней прижался к своему другу. Прекрасная Птица, не раскрывая глаз и по-прежнему кривясь в сумешке, снова высунул язык.

Нападающий Слон ничего не ответил насмешнику, отвернулся и убрал руку с лодыжки. Он сидел, уставясь в землю, на разбросанные инструменты. Его хмурый взгляд перебегал с барабана на лук с тремя тетивами, на лежавшую у ног флейту из белой кости. Протянув руку, он поднял флейту и поднес к губам. Приготовился заиграть, но взглянул искоса на Старейшего и медленно положил флейту на землю. Позади кто-то шепотом произнес:

— Нападающий Слон хлопнулся носом перед антилопой...

Нападающий Слон заговорил, повторяя не первый раз:

— Камень там был... за веткой не видно, а еще корень торчал. Понятно?

Он вскочил на ноги и тут же чуть не упал, ступив на больную ногу. Стиснув зубы от боли, хромая, он принялся расхаживать возле отдыхавших. Мальчик, лежавший на груди Старейшего, радостно взвизгнул:

— Шимпанзе!

Старейший дернулся и крепко хлопнул его по заду, так что мальчишка завопил тонким голосом. Но тут со всех сторон слышалось фыркание и тихое хихикание — молодежь тряслась от сдерживаемого смеха. С другого края раздался звучный шлепок и ответный вопль; постепенно все утомонились, лишь изредка кто-нибудь прыскал украдкой да однажды кто-то открыто захохотал.

Шимпанзе застыл как вкопанный, получив новую кличку. Кровь бросилась ему в лицо, потом смуглые щеки побледнели, вновь потемнели. Колени его подогнулись, и он, ошупывая землю руками, не глядя, медленно опустился на корточки. Рот его был открыт, глаза выпучены, ноздри раздувались, лицо побагровело.

Солнце катилось по небу, и с одной стороны тень от кроны уже подбиралась к стволу.

Шимпанзе по-прежнему сидел скрючившись. Лицо его приняло нормальный цвет, но он больше не опирался щекой о колени, а уныло смотрел на равнину.

Со всех сторон ее окружали горы. На их бледно-голубых вершинах там и тут белел снег. Ниже голубой цвет сменялся темно-синим, затем синим с примесью коричневого. Еще ниже, у самого подножия, шла зеленая полоса лесов. Но Шимпанзе не замечал этого чередования красок. Только когда в поле его зрения попала черная грозовая туча, напозавшая слева на склоны, он словно очнулся и нашарил рукой флейту. Но мгновение спустя оставил ее и продолжал без всякого выражения смотреть на грозу. Издалека туча походила на змею, ползущую по склонам гор. И где она проползала, там сверкали вспышки, а за грозовой тучей волочился искрящийся хвост. Юноша смотрел на смутную полосу ливня под тучей, и его глаза наполнялись слезами, отчего равнина и горы расплывались, теряя очертания.

Солнце заглянуло под крону дерева. Шаловливый ветерок затеял игры в листе, и могучее дерево очнулось, зашевелилось, зашумело и вновь затихло. Леопарды тоже начали

просыпаться. Они зевали, потягивались, облизывали пересохшие губы, вставали, собирали разбросанные вещи. Старейший надел на шею бусы из птичьих скорлупок. Шимпанзе сунул флейту за пояс. Разящий Орел провел пальцами по веревкам бол*, осмотрел камни, привязанные к их концам, будто за то время, пока он спал, в них произошла перемена. Никто больше не улыбался и не смеялся.

Старейший был полностью готов. Он хмуро поглядывал на остальных, поджидая, когда охотники наденут поясные и наплечные мешки, подтянут набедренные повязки. Когда сборы наконец были закончены и все ждали только сигнала к выступлению, он еще постоял несколько мгновений, прислушиваясь к звукам, доносившимся с равнины, потом приложил палец к губам и махнул копьем. Леопарды — мальчики, юноши и взрослые — беззвучно заскользили в высокой траве.

По всей равнине паслись стада диких животных; одним трава была по колено, другим — по

* *Бола* — предок используемого поныне (аргентинскими гаучо, например) метательного снаряда, состоящего из длинного шнура с тяжелыми шарами на концах. — *Примеч. пер.*

шею. Плоское однообразие саванны, травяными волнами накатывавшейся на леса у подножия невысоких гор, кое-где нарушалось колючим кустарником, высокими термитниками или гигантскими деревьями, подобными тому, под которым Леопарды недавно отдыхали. Охотники углубились в равнину, шагая гуськом по узкой звериной тропе. Они шли неспешным ровным шагом, чтобы не спугнуть животных. Возглавлял отряд Светляк, который, низко пригнувшись, зорко глядел по сторонам и прислушивался. Наконец, когда пасущиеся стада оказались у них с трех сторон, охотники остановились. Даже Шимпанзе, хотя и отстал немного, замер на месте. Старейший оглядывался вокруг, примечая, где какие животные пасутся и какие из них тучные, какие тощие, старые или молодые, здоровые, больные, самки и самцы. Буйволы, зебры, антилопы, газели, носороги, он видел их всех — как они лежат, скрытые в траве между невидимыми оврагами с крутыми глинистыми откосами и мутной водой на дне. Он видел, знал, какое животное можно настичь у края обрыва или загнать в овраг. И когда он повернул голову налево, все сделали то же самое, увидели подножие близкого холма и вспомнили о сухом

овраге, располагавшемся между ними и холмом. Нужно было обладать большим мастерством, чтобы провести отряд среди стад и вывести именно в ту точку, где можно было бы отрезать от остальных одно животное. Они двигались крадучись, когда двигался Старейший, безотчетно, но тем не менее верно выбирая такой путь, чтобы не спугнуть какое-нибудь из стад. Три стада — хотя и перемешавшиеся — находились между ними и оврагом: стадо буйволов, стадо зебр и стадо газелей. Чем ближе подходили к ним Леопарды, тем точнее нужно было определять направление движения. Вожаки, охранявшие стада, подняли головы и внимательно осматривались. Искусство охотника заключалось в умении подойти к животным таким образом, чтобы вожаки, обнаружив их, не поняли, какому стаду угрожает опасность, — насторожились, но не испугались. Настороженность была пока не более чем первым пробуждением постоянно живущего в животных ужаса. Поэтому они, продолжая щипать траву, медленно передвигались в более спокойное место, где опасность была наименьшей. Зубры повернули направо, буйволы — налево. Газели предпочли пройти немного вперед, ближе к обрыву. Охот-

ники остановились. Перед ними было множество животных — животных, которых будет не удержать, как воду в горсти, от которой остается лишь капля на ладони. Ибо между охотниками и ними было по меньшей мере десять шагов; и если последнее животное не взвьется в воздух, пытаясь перескочить овраг, оно сможет прорваться сквозь цепочку охотников. И охотники держали наготове копыта, а левой рукой сжимали висевшие на поясе болы. Это будет отчаянный момент, когда отставшее животное повинуется одному только ужасу. Если оно выберет полет в гигантском прыжке сквозь цепочку людей или над ними, это будет миг визга и воплей, миг бол и свистящих копий с наконечниками, обожженными в огне, тяжелых, как камень, и жужжащих камней, планетарно вращающихся на конце длинной веревки. Тут можно лишиться глаза или зуба. Может кончиться сломанной рукой или ногой, а то и пробитым черепом. А потом, при должном искусстве и некотором везении, останется бьющееся в траве существо и приближающиеся к нему люди.

Леопарды остановились и, пока стада разбредались в стороны, приготовили оружие. Движения животных были все еще медленны,

как если бы они обладали неким неопределенным чувством опасности и знали: мало что угрожает всем им, а смерть и вовсе ждет лишь одного. Охотники вновь крадучись пошли вперед, и животные прибавили шаг, но не из страха, а из предосторожности. Охотники двигались в траве, как движется корабль среди паковых льдов, когда белые поля отступают перед ним, не взламываемые сталью корпуса, но расходясь от легкого толчка или даже бегущей перед носом волны.

Охотники ускорили шаг. Теперь двигались только их ноги, скрытые в траве, словно следящий взгляд можно было обмануть впечатлением, что люди не подходят ближе. Внезапно охотники рванулись вперед и побежали, достигнув той самой точки, с которой можно было засечь большинство животных врасплох или по крайней мере заставить их растеряться перед лицом открытой опасности. Животные замычали, зафыркали и ринулись прочь; равнина задрожала под копытами, и над сухой травой поднялись облака пыли. Все быстрее бежали охотники, все быстрее мчались стада, все громче гремели копыта и пронзительней звучали вопли:

— У-лю-лю-лю-лю!

Отрезанными оказались пугливые газели — безобидные, бестолковые, беспомощные, которым, спасая жизнь, не на что положиться, кроме как на свои точеные ножки; газели бессловесные и нежные, мечущиеся в разные стороны, в прыжке взлетающие в воздух выше человеческого роста. Большинство их зигзагами унеслись прочь, делая огромные прыжки, касаясь земли только для того, чтобы вновь оттолкнуться. Болы описывали круги, копы засыпали в поднятых руках. Последняя газель, растерявшаяся и не сумевшая прорваться, последняя из всего стада, осталась одна между глубоким оврагом, вопящими людьми и жужжащими камнями. Она кинулась к обрыву и повернула обратно. Копье просвистело над ней и исчезло в овраге. Когда за первым копьём последовало второе, она прыгнула вертикально, потом рванулась в сторону, туда, где человеческая фигура неуклюже и запоздало спешила занять свое место в шеренге. Человек поднял копьё и тут же боком повалился в траву. Газель перемахнула через него и размашистыми скачками понеслась по равнине. Между полукругом охотников и обрывом не осталось ни одного животного.

Разящий Орел подбежал к упавшему и принялся лупить его, приговаривая:

— Ах ты, Шимпанзе!

Прекрасная Птица заглянул в овраг.

— Придется Прекрасной Птице лететь вниз за копьем.

— И Свирепому Льву!

— И Светляку!

Охотники подступили к краю оврага. Все кричали и зло смотрели друг на друга. Старейший показал на отлогую каменистую осыпь, начинавшуюся от края оврага и чуть больше чем на длину копья не доходившую до дна. Один за другим они попрыгали вниз и скатились по осыпавшейся под ногами земле на дно, где среди комьев мокрой глины торчали копыя. Шимпанзе медленно поднялся на ноги, опираясь на копье. От боли он прикусил губу, лицо его исказилось в мучительной гримасе. Он не последовал за всеми, а заковылял по краю оврага, ища более удобное место для спуска. Вдалеке замирал глухой топот копыт убежавших животных. Шимпанзе не нашел ничего, кроме тропинки, столь крутой и узкой, что некоторое время стоял, глядя вниз на охотников, прежде чем решиться на спуск. Мальчик, по имени Стреко-

за, опустился на колени перед лужей и аккуратно пил из пригоршни. Прекрасная Птица смывал с себя кровь, а остальные стояли вокруг него и любовались длинными царапинами от клюва и когтей. Шимпанзе посмотрел вдоль обрыва, но овраг слева и справа круто изгибался, скрывая обзор. Тогда он вверил свою судьбу тропинке и полез вниз, одной рукой цепляясь за сухую глину откоса, а другой опираясь на копьё. Но за два человеческих роста до дна тропинка обрывалась. Последнее животное, которое спускалось по тропе, прыгнуло здесь, оттолкнувшись задними лапами, и обрушило глиняный уступ. Даже не делая логических умозаключений, Шимпанзе понял, что это было за животное, вернее, зверь, и волосы у него стали дыбом. Широко раздувая ноздри, он внимательно вглядывался в дно оврага. Внизу на грязи виднелись отпечаток лапы и пятнышко крови там, где зверь положил свою добычу на землю, чтобы напиться. Шимпанзе сразу все понял. Где-то вверх по оврагу или дальше есть пещера или подходящее дерево. Добыча — верней всего, газель — висит, полусъеденная, между его ветвями. Убийца нежится на солнце, сытый, вылизывая лапы. Лицо у Шимпанзе посе-

рело, потом побагровело. У него перехватило дыхание. Он раскрыл рот, чтобы крикнуть, но из горла вырвался лишь хрип. Он набрал воздуха и завопил:

— Леопард!

Охотники схватились за оружие и обернулись на вопль, застыв и внимательно глядя на Шимпанзе. Тот, одной рукой опираясь на осыпающийся склон, показал копьём на дно оврага.

— Леопард!

Стрекоза хихикнул, Разящий Орел неуверенно засмеялся.

Охотники сбились в тесную кучу. Ноги их дрожали. Старейший двинулся к тому месту, куда указывало копьё Шимпанзе. Присел на корточки, понюхал след, потом пятно крови. Тронул его, лизнул палец. Посмотрел на обрыв, шагнул вперед и стал внимательно разглядывать пятнышко, столь малое, что только он мог заметить его. Лицо Старейшего оставалось бесстрастным, но дышал он часто, как и Шимпанзе. Повернувшись, он быстро подбежал к охотникам, схватил одного из старших за руку и заглянул ему в лицо. Мгновение оба стояли неподвижно, не произнося ни слова, потом обнялись и засмеялись. Стрекоза стоял рядом, вцепив-

шись обеими руками в копье. Рот у него был открыт, зубы клацали. Он стиснул челюсти, но это не помогло — стал дрожать всем телом.

Старейший разжал объятия. Он снова был бесстрастен. Заглядывая охотникам в глаза, он без слов призывал каждого собраться с духом. Всех — сплотиться. Развернувшись, он молча зашагал по жидкой грязи вверх по оврагу, остальные двинулись за ним. Молодые охотники молчаливо шли по бокам Старейшего, мальчики и взрослые следовали позади. Они шагали, низко пригнувшись, держа копья наготове. Сейчас они так походили один на другого, что могли бы иметь одно лицо — лицо, выражавшее гордость, страх, радость.

Шимпанзе, застрявший на откосе, закричал — боль заставила его найти нужные слова:
— Подождите меня!

Он глянул вниз, на дно оврага, оскалился и приготовился прыгать. Но едва согнул колени для прыжка, как почувствовал неуловимое изменение в воздухе, слабый звук, новый, неопределенный. Нарастающий, доносящийся из дальнего конца оврага, приближающийся, становящийся все громче шум не был похож на топот бегущего стада. Он посмотрел туда, где

овраг делал поворот, и охотники остановились, глядя в ту же сторону, колеблясь между страхом и гордостью, не позволявшей обратиться в бегство перед неведомой опасностью. Не выдержав, они подались назад — горделивое и радостное выражение исчезло с их лиц, выдававших теперь только страх и неуверенность, — и бестолково засуетились, хватаясь друг за друга. Гул перерос в мощный рев. Безумное существо из крутящихся глыб глины, сучьев, мелких животных, катящихся камней, грязной воды и пены вырвалось из-за поворота, будто чудовищная лапа. Оно вздымалось и гремело, заглушая вопли людей. Оно подхватило охотников: стариков, взрослых, молодых, опрокинуло их, завертело, закрутило, вышибло из рук оружие, отняло силы. Оно било головы о камни, залепляло лица грязью, гнуло руки и ноги, как соломинки. Оно было бессмысленно, неодолимо, всесокрушающе. Но вот первый вал прошел, рев сменился громким плеском. Поверхность воды успокоилась, поток, подмывая осыпающиеся склоны и принимая в себя рушащиеся комья глины, мчался по оврагу, бурный посредине, темный, как сырая земля, испещренный клочьями желтой пены. Свирепо-

го Льва течение несло вверх задом, и только то, как он колотил ногами по воде, говорило о его отчаянных попытках принять вертикальное положение. Старейший стоял, увязнув в глине, и отплевывался от грязной воды. Обвалившаяся глыба земли снова сшибла его с ног. Вода доходила до колен. Прекрасная Птица встал на ноги, шарахнулся от змеи, проплывавшей, извиваясь, мимо. Стрекоза сидел, икая и поскуливая. Старейший вновь появился, далеко отнесенный течением. По его лицу и теперь нельзя было прочесть, что он думает, но на сей раз потому, что грязь залепила его. Поток наконец замедлил бег, успокоился; там и сям кружились небольшие воронки, воды стало всего по щиколотку. Опять наступила тишина — слышался лишь плеск воды под ногами Леопардов, бродящих по дну оврага, да плюханье обваливающих комьев земли.

Шимпанзе сидел на корточках на откосе, недостижимый для потока, и разинув рот смотрел на то, что творится внизу. Охотники собирались на дне оврага. Шимпанзе, глядя на них, зашелся смехом, хлопая себя по коленям так, что едва не падал. Слезы катились по его запрокинутому лицу. Он взвизгивал в изнеможе-

нии, а потом и вовсе вскрикивал, как женщина при потугах. Охотники хмуро глядели на него сквозь грязь, облепившую лица и волосы.

— Мы не Леопарды, мы — Рыбы! Ха-ха-ха!

Прекрасная Птица выдернул из прически перепачканное перо и разглядывал его.

— Как Прекрасная Птица будет теперь летать?

Слезы хлынули у него из глаз и полились, оставляя светло-коричневые полосы на щеках. Разящий Орел схватил пригоршню грязи и швырнул в Шимпанзе. Тут же все последовали его примеру. Комок с прилипшим к нему камнем угодил Шимпанзе в плечо. Он перестал смеяться, перебрался повыше и закричал во все горло:

— Нападающий Слон, Который Упал Перед Антилопой, прыгнул бы, как леопард, да зацепился о корень, и ветка помешала...

— Ты — Шимпанзе!

Разящий Орел шарил у себя на поясе. Нашупал болу и начал вращать ее над головой — в-ж-ж, в-ж-ж. Свирепый Лев полез на откос, цепляясь за неровности почвы, но вскоре заскользил вниз вместе с прехавшей под ним глиной. Камни бол, пущенных в Шимпанзе, со свистом пролетали рядом и впивались в землю; он кожей чувствовал волны вспоротого ими воз-

духа. В негодовании он шустро вскарабкался по откосу, выбрался из оврага, поглядел из-под руки на лезущих позади преследователей и, разозленный, побежал прихрамывая прочь, остановившись лишь тогда, когда стал недосыгаем для копий. Обернулся, посмотрел назад, но охотники уже вылезали из оврага, и он отбежал дальше, снова остановился и оглянулся. Охотники столпились наверху, крича и размахивая руками. Он увидел, как Светляк погрозил ему кулаком. Прекрасная Птица стоял, закрыв лицо ладонями, а Разящий Орел обнимал его за плечи. Шимпанзе развел руками и склонил голову к плечу, как бы пытаясь выразить на расстоянии то, чего нельзя было сказать словами.

Свирепый Лев сделал вид, что бросает копье.

— Убирайся!

Бешеный Носорог сложил ладони рупором и прокричал:

— Мы тебя больше не любим!

Прекрасная Птица запрокинул голову и с надрывом завопил:

— Прекрасная Птица хочет летать!

Разящий Орел поцеловал его. Кто-то из охотников — Шимпанзе не мог разглядеть кто — выкрикнул, приставив ладони ко рту:

— Убирайся к своим шимпанзе!

Остальные завывали от восторга. Это было обидно. Шимпанзе зло пробурчал что-то, замахнулся копьем, потом швырнул его наземь. Товарищи поворачивались к нему спиной и уходили вдоль оврага, направляясь в глубь охотничьей территории. Он смотрел им вслед. Двинулся было за ними, но, словно почувствовав, что он тащится сзади, охотники повернули к нему смутно различимые лица, и чей-то голос прокричал, заставив его застыть на месте:

— Сражайся с вожаком шимпанзе!

Он опять услышал их смех, и даже на таком расстоянии ему было видно, как один из мальчиков подражает неуклюжей походке вставшего на задние лапы вожака обезьяньей стаи. Отряд постепенно удалялся, уже можно было различить только высокие прически охотников, а потом они и вовсе скрылись из виду.

Все это время Шимпанзе стоял и, раскрыв рот, недоуменно моргая, глядел на равнину, где скрылись охотники. Их давно уже не было видно, когда он наконец пошевелился. Вонзил копье в землю и вырвал. Пробежал несколько шагов и пошатнулся. Медленно опустился на колени и не глядя дотронулся до лодыжки. Его

взгляд был устремлен туда, где недавно были охотники. Обхватив голову руками, он так низко склонился к земле, что коснулся ее лбом. Из глаз его полились слезы. Из груди рвались вопли. Он раскачивался из стороны в сторону, сидя на примятой траве, а выплакавшись, вытянул ноги и лег, уткнувшись лицом в сухие сломанные стебли.

Наконец напoлзшая тень и крики птиц разбудили его. Птицы возвращались на места ночевки, на лету сообщая друг другу о своих дневных делах. Для Шимпанзе смысл их щебета был прост и ясен. Он рывком поднялся на колени и уставился на багряное неистовство заката. Затем вскочил на ноги, закружился, словно почувствовал за спиной леопарда, сначала в одну, потом в другую сторону, и захромал на больную ногу. Несмотря на теплый вечер, его бил озноб. Он стиснул оскаленные зубы — а когда на миг разжал, они застучали еще сильнее. Побежал в ту сторону, куда ушли охотники, остановился, побежал опять, кружа на одном месте. Снова остановился и обхватил себя руками. Слезы струились по его щекам, но ни звука не вырывалось из груди. То, что он ощущал и для чего у него не было слов, было вокруг него и в

нем самом — ни на что не похожее, не переживавшееся прежде, с чем ему еще не приходилось бороться. Он не был ни болен, ни стар — он был один.

В стороне, противоположной закату, высунилось из-за гор белое плечо. Как живая, Она вставала вдалеке, за женской деревней. Шимпанзе знал, что Она беременна, но не испугался еще больше. Она ничем не угрожала, никуда не звала, но, безмятежная и погруженная в себя, давала людям возможность охотиться. Однако, оглядываясь в ее меняющемся свете, Шимпанзе чувствовал беспокойство, слыша, как с ее появлением встают и выходят из своих дневных укрытий звери. Им Она тоже давала возможность охотиться. Он неуклюже потрусил по густой траве. Словно влекомый неким инстинктом, он слепо устремился туда, где, как он знал, равнина постепенно повышалась — туда, сквозь млечный свет, где овраг расширялся, переходя в берега широкого озера, и где начинались первые скалы предгорья. Камни бол колотили его по бедру, рука сжимала копье, словно запястье друга. Высоко в небе свободно плыла Небесная Женщина. Вдали вознесся над равниной крик настигнутой зебры, и Шимпанзе спотк-

нулся на бегу. Небесная Женщина лила на него свой равнодушный свет. Ноги у него подкосились, и он рухнул на колени в траву, хватая воздух широко открытым ртом. Пот градом лил с него. Некоторое время он ничего не слышал, кроме стука собственного сердца. Потом обессиленно распростерся на земле и прижался к ней щекой, поднимая дыханием султанчики пыли. Впереди высились горы, за которые в этот миг закатилось солнце, и последние отблески пурпура исчезли со склонов. Синий и зеленый растворились во тьме земли. Гиены и дикие собаки вышли на охоту. Он слышал их, видел. Повсюду искрами холодного огня вспыхивали глаза зверей. Он поднялся и продолжил путь. Теперь он не бежал, а передвигался короткими рывками, то и дело застывая на месте, вглядываясь и вслушиваясь во тьму. Впереди равнина спускалась к озеру, и, подойдя ближе, он услышал раздавшиеся вдруг плеск воды, фырканье, стук и гром копыт — то всполошились пришедшие на водопой животные, которых он испугнул. Он весь задрожал и оскалился.

И все же ему ничего не угрожало, хотя он и не знал об этом. Он сам представлял собой опасность, которая исходила от всего племени смуг-

лых созданий, убивающих издалека; и для тех, кто обладал каким-то разумом, и для тех, кто не обладал им вовсе, одного его появления было достаточно для паники. Так что он безопасно проскользнул мимо озера в тень валунов, а вскоре — под тень высокого утеса. Утес был не слишком крутым, и он вскарабкался наверх, до расщелины, где возмущенные птицы встретили прищельца пронзительными криками и хлопаньем крыльев; или же, уступая превосходству противника, покидали гнезда и, тяжело взмахивая крыльями, улетали прочь в лунном свете.

III

Как бодрствовали в эту пору звери на равнине, так бодрствовали и в деревне. И не просто потому, что дети, выпавшись днем, теперь заигрались до заката, так бывало всегда. Истинной причиной было то, что и Пальма, и остальные женщины знали, какой округлой будет Небесная Женщина, когда появится. Они увидели ее позже, чем Леопарды, поскольку Горячие Источники были закрыты горой. Так что у женщин было некоторое время, чтобы побездель-

ничать. Они прохаживались группками, но разговаривали мало. В сумерках раздавались взрывы смеха, непрерывно и не сдерживаясь кричала в шалаше роженица.

Пальма опять стояла у верхней заводи, бурлящей и окутанной паром. Она смотрела на гору, темным силуэтом высившуюся в густеющей синеве вечернего неба. Внизу, у реки, женщины ходили парами, обняв друг дружку за плечи или талию, стояли, собравшись по нескольку человек, смеясь и громко хихикая. Пальме было не до них. Перед шалашом роженицы горел яркий огонь, но Пальма не обращала на него внимания. Она ждала на вершине возле кипящей воды, стиснув кулачки, и с тоской смотрела на темные очертания соседней горы.

Вопли детей у реки стали ещё громче и пронзительней. Они уже были в таком состоянии, что не понимали, насколько устали. Игры переросли в ссоры и драки. Пальма слышала, как женщины кинулись их успокаивать. Где-то хныкал младенец, отчаянно рыдал мальчик. Женский смех внезапно оборвался, слышались строгие окрики. Пальма уловила, как матери шикают на детей, собирают их на берегу и отводят к скалам — притихших, лишь иногда заходя-

щихся истерическим плачем, вконец измученных. Вскоре жизнь в деревне замерла, и тишину нарушали лишь периодические вопли роженницы. В дюжине хижин, шалашей и под навесами матери говорили детям, что в эту ночь ночей нельзя выходить наружу до рассвета, потому что страшные сны бродят по деревне. Пальма не сводила томительного взгляда с горы, часто и тяжело дыша открытым ртом.

В небе произошла перемена. Небесная синева посветлела там, где ожидалось, — прямо над темным силуэтом горы. Пальма не сводила напряженного взгляда с неба, пока не заслезились глаза, тогда она несколько раз переступила с пятки на носок, поморгала, и в глазах опять прояснилось. Половину равнины и окружающие горы залил млечный свет и побежал к реке и деревне. Женщины снова вышли из своих жилищ. Она видела, как свет заструился извивающимися блестками, перебираясь через реку, плавно и быстро, как девушки, тянущие сеть. Свет коснулся ближнего берега. Деревья вокруг женской деревни оделись узором из тускло отсвечивающих раковин и побегов цвета слоновой кости. Женщины внизу стояли молча, ожидая, когда тень от них протянется по земле.

Пальма перевела взгляд с деревни на небо. Из-за горы показалась узкая белая полоска — изгиб белого плеча. Пальма воздела руки к небу и торжественно вскричала раз и другой. Белый свет омыл ее, на смуглой шее тускло вспыхнули бусы из раковин, белки глаз льдисто засверкали. Внизу смутно белели лица стоявших женщин. Небесная Женщина выплыла из-за горы.

Пальма опустила руки. Луна купалась в бурлящей воде заводи, приплясывая, рассыпаясь, струясь и вновь рассыпаясь, как будто вода в источнике была прохладной, как в реке. Женщины смеялись и возбужденно переговаривались. Она слышала пронзительный, почти истерический смех, тихие вскрики, взвизгивания и снова смех. Они уверены, что теперь момент настал, подумала она про себя. И предвкушают...

Туг она вспомнила о том, что ей предстоит. Явственней, чем свет, пляшущий на воде, увидела неизменную чашу из кокосовой скорлупы, полную темной жидкости. Ощутила тяжелый запах, и у нее перехватило дыхание. Чаша словно висела в воздухе — нигде, везде, близко; и позади чаши — тьма. Пальма закрыла глаза, сжала губы, стиснула руки. Ее била дрожь. Вновь закричала роженица.

Когда Пальма открыла глаза, дрожь прекратилась и чаша с питьем пропала вместе со своим запахом. Она пристально взглянула на Небесную Женщину, и волна мрачной решимости, оставив мурашки на теле, обдала ее, как холодный ветер. Она облизнула губы и сказала себе, как всегда, когда чувствовала это дуновение:

— Небесная Женщина — это просто Небесная Женщина. И ничего больше. Смотреть на нее по-другому — значит вести себя как девчонка... думать как мужчина...

Она отвернулась и взглянула на жилище Леопардов. Лунный свет заставил мерцать леопардовые черепа. Она видела только ближний их ряд, но знала, где лежат другие, старые, пожелтевшие и развалившиеся, те, что в дальнем углу, от которых мало что осталось, кроме клыков и зубов. Неожиданно, словно обдавший ее ветер совершил что-то с ее глазами, она увидела жилище Леопардов таким, каким оно было, а не тем, каким представало взгляду, обычно искаженному презрением, или насмешкой, или подозрительностью. Когда-то на этом месте была обычная заводь, со временем высохшая. Она росла как полагается, увеличивалась в размерах, вода намывала слой за слоем желтую и бе-

лую взвесь твердых пород у краев; а затем, по какой-то земной необходимости — возможно, для ее охлаждения — вода вырвалась на волю — там, возле узкого входа, занавешенного леопардовой шкурой. Но этим дело не кончилось, ибо в дальнем конце круглой площадки начала образовываться другая, меньшего размера, однако процесс прекратился, когда вода ушла отсюда, предпочтя цепочку площадок в другом месте, повыше. Видение было ясным и четким, как если бы, проснувшись, она увидела прямо перед глазами реальные стебельки травы.

Женщина вновь закричала. Пальма изобразила приятную улыбку и вприпрыжку побежала вниз — руки на отлете для равновесия, длинные волосы развеваются за спиной. Внизу ее встретили спешащие от деревни девушки.

— Пальма! Пальма! Когда начнем?

Она грациозно шагала между ними к деревне, улыбаясь то одной, то другой.

— Когда дадим имя ребенку.

Девушки болтали, перебивая друг дружку, но она не слушала их. Она свернула к роще, и взрослые женщины провожали ее взглядом. Скрывшись среди деревьев, она вскоре оказалась перед пологом из шкур, сплошь украшен-

ным раковинами, один вид которого заставил бы мужчину уползти в ужасе. Она подняла угол полога и вошла внутрь. Здесь было темно из-за близко подступавших деревьев, но с открытой стороны было достаточно света от луны, отражавшейся в реке. Две женщины, чьи силуэты чернели у самой воды, хлопотали у смутно видневшегося сооружения. В воздухе висел смрадный запах. Сооружение представляло собой треногу из толстых сучьев с закрепленной на ней провисшей шкурой. Женщины помешивали содержимое шкуры и тихо напевали. Увидев Пальму, они раступились. Пальма подошла ближе, наклонилась над шкурой и потянула носом. От тяжелого духа у нее перехватило в горле, и она вновь задрожала. Варщицы протянули ей палку.

— Уже готово.

Охрипшим голосом Пальма пробормотала в клубы зловонного пара:

— Подождем еще.

Пчелы вопросительно посмотрели на нее:

— И долго?

— Пока имя не будет произнесено.

Женщины переглянулись, но ни словом не выдали разочарования. Не пытаюсь ли я увильнуть, мысленно спросила себя Пальма, не ищу

ли отговорки? И хочу ли... хотела бы... иного, чем... эта моя обязанность! Нет, это мой долг!

Она помешала жидкость палкой, отвела к краю пузырьки и жир и с тоской посмотрела на темное варево, столь похожее на тьму вокруг чаши. Одна из Пчел икнула и сдавленно хихикнула. Пальма взглянула на нее.

— Попробуй, Пальма. Ты должна попробовать!

Варщица наклонилась, зачерпнула половинкой кокосовой скорлупы зловонную жидкость и протянула Пальме.

— Пробуй!

В конце концов, подумала Пальма, от этого не уйти. Это моя обязанность. Ничего нет проще. Даже если с именем ничего не получится, все равно я должна попытаться, чтобы убедиться...

Она поднесла чашу к губам и изящно отпила глоточек. Тут же обязанность стала для нее очевидной, явной, вовсе не жестокой, а даже приятной.

— Замечательно.

Женщины засмеялись вместе с ней. У обеих в руках было по такой же чаше из кокосовой скорлупы.

— Правда замечательно!

Запрокинув голову, она осушила чашу. По телу разлилось тепло и появилось ощущение тихого счастья. От шалаша донесся душераздирающий крик, и она внезапно поняла, что, хотя Небесная Женщина — всего лишь Небесная Женщина, это не имеет никакого значения, и имя будет названо, да, будет названо, а потом начнется и полночное празднество. Не успел стихнуть крик, как она направилась к пологу, зная, что ребенок появился на свет и что все прошло благополучно. Скорым шагом она вышла из роши, и опять женщины провожали ее глазами, на сей раз молча. Она быстро подошла к шалашу, просунула голову внутрь, потом вошла. Женщина лежала, отдыхая, ее влажное от пота лицо было мертвенно-бледно, лишь отблеск пламени в очаге оживлял его. Одна помощница сидела сбоку и вытирала ей мокрый лоб, вторая склонилась над младенцем, завязывая перекрученную пуповину. Услышав, как вошла Давущая Имена, она повернулась и протянула ей ребенка. Пальма приняла младенца — девочку, подняла, держа за ножки, на вытянутой руке и внимательно оглядела. Потом опустилась на земляной пол и положила младенца себе на колени. Девочка извивалась всем тельцем и пища-

ла, как котенок. Одна из женщин протянула щепку. Пальма сунула ее в огонь, подожгла и стала водить перед черными, смотрящими в разные стороны глазками, пока не увидела, что младенец пытается следить за огоньком. Она бросила щепку в очаг и принялась баюкать ребенка. Груди ее затрепетали, болезненно затвердели соски. Смеясь, Пальма лицом коснулась покрытой пушком головки. Детская ручонка ухватила ее за мизинец и крепко сжала. Она снова засмеялась, глядя в лицо молодой матери:

— У нее есть имя! Слышишь, Анемона? У твоей дочери есть имя. Ее зовут Маленькая Пальма!

Она наклонилась и вложила дитя в руки матери, протянувшиеся навстречу. Анемона слабо улыбнулась. Дающая Имена Женщинам встала, поднырнула под свисающие шкуры полога. Снаружи толпились женщины, молча ожидая, что она скажет.

— Маленькая Пальма! — выкрикнула она, понимая, почему так назвала девочку. — Ее зовут Маленькая Пальма!

Всеми овладело веселье; раздался радостный смех, зазвучали песни. Одни женщины поспешили к реке, другие отправились к заводам, третьи столпились в шалаше вокруг матери и младенца.

Пальма, тяжело дыша, быстро шагала, окруженная женщинами, обратно в рощу, где над треногой с варевом поднимался пар, за которым сгущалась блаженная тьма. Грудь у нее болела, на лице сияла улыбка. Шла и говорила:

— Я еще не так стара и могу снова родить ребенка.

IV

На залитых лунным светом охотничьих просторах кипела жизнь. Но мало что влекло зверей на лесистые предгорья, и уж вовсе ничего — к голым скалам. Жизнь шла своим чередом и на вершинах деревьев, где шумели птицы и обезьяны. Но скалы казались совершенно необитаемыми, ибо птицы или сидели по своим орлиным гнездам, или еще засветло улетели на равнину, чтобы присоединиться к сообществам себе подобных на озерах. Шимпанзе вертел головой, оглядываясь, но лишь в одном месте обнаружил признаки жизни — мерцавшие иногда искорки глаз. Он сидел скорчившись на уступе, где только птицы могли достать его; но у тех не было такого желания. Копье стояло справа

от него, прислоненное к скале, костяная флейта валялась рядом с копьем, куда он бросил ее, словно она значила для него не больше, чем какая-нибудь палка. Время от времени он потирал лодыжку и озирался вокруг. Он все еще не осознавал того, с чем столкнулся и что ему предстояло преодолеть. Он не чувствовал ничего, кроме гнева к глубокой печали. Инстинкт подсказал ему, что лучшее средство от этого — поесть. Поэтому, примостившись на выступе, он первым делом принялся грызть сушеную рыбу, которой его снабдили женщины, хотя это была не настоящая еда, а всего лишь припас на крайний случай. Воспользоваться им значило признать, что человек, так или иначе, оплошал как мужчина. Сознание этого усугубляло чувство унижения, которое мучило его. Лучше не стало, и он отказался от попытки отвлечься едой от горя, отчего вновь ощутил свою заброшенность. Он тосковал по товарищам, и одновременно в нем вскипало возмущение. Он завопил во все горло:

— Рыбы! Девчонки поймают вас в свои сети!

Поскольку злость терзала куда меньше, чем чувство унижения, он думал об охотниках с насмешкой, посылал презрительную улыбку в сторону равнины. Они, мысленно видел он, зная

обычай охотников, вырастили сейчас огненный цветок и расположились вокруг него, тесно, словно бусы. Он вдруг увидел их так отчетливо, что тоска вновь стиснула ему сердце. Он застонал и стал корчиться, как от физической боли. Тем не менее ни о чем другом он думать не мог; и мысли его, однажды выйдя на эту тропу, уже не могли свернуть в сторону. Он видел костер, куски жареного мяса, слышал смех и пение. Видел Свиного Льва, играющего на маленьком барабане, Разящего Орла, тренькающего на трехструнном луке. Он видел там себя, со счастливым лицом наигрывающего на костяной флейте. К тому же одновременное присутствие его там и тут — там ублаженного, здесь изнывающего — возродило нестерпимую муку, так что Шимпанзе взвыл во весь голос, и орел, сидевший в гнезде неподалеку, заклекотал и забил крылом. Он видел, как охотники поют, слышал их голоса:

На охоту пойдем мы, пойдем на охоту!

Шимпанзе, Который Здесь, повернул голову налево и стал пристально вглядываться в далекую равнину, обводя глазами лес и склоны предгорий, ища огонек костра или струйку дыма.

Он схватил флейту, поднес к губам, но снова отбросил. Весь мир, озаряемый Небесной Женщиной, плавал во влаге его глаз. Он слышал, как Старейший поет своим глубоким, счастливым голосом, а Шимпанзе подыгрывает ему. Слышал, как все, прихлопывая в ладоши, громко поют о торжестве Небесной Женщины:

Ты не заносчивая, ты не злая,
Ты не валяешься на спине, охая,
О Небесная Женщина, с белым задом
и большим животом,
Не мешай нам охотиться!

А немного погода снова пели:

На охоту пойдем мы!
Пойдем на охоту!
Ра! Ра! Ра!

Вот они кончили петь и укладываются, чтобы предаться сну и любви. Стрекоза, еще совсем недавно мальчик... Спелое Яблоко... Прекрасная Птица и Нападающий Слон, Который Хлопнулся Носом Перед Антилопой... спокойная властность Старейшего... двое других старших, которые всегда неразлучны...

Шимпанзе, Который Здесь, застонал, и слезы вновь потекли по его лицу. Шимпанзе, Который Там, протянул руку к Стрекозе, улыбнувшемуся в ответ; но Свирепый Лев ухватил хорошенького мальчишку за лодыжку и потянул к себе. Прекрасная Птица неуклюже поднялся, проковылял, изображая вожака обезьян, и Старейший засмеялся. Шимпанзе стукнул кулаком по коленям. И тут в голове его словно грянул гром, и взвыл ветер, и сверкнула молния. Он выкрикнул свою боль в песне:

Я — Леопард, Убивающий Водяной Лапой!

Он был Леопард Леопардов, громадный и гибкий. Он был сотворен из огня и лунного света. Он бесшумно скользил по лесу — хвост колотит по бокам, клыки оскалены, глаза как молнии. Он прыгнул на них из тьмы, и они завопили от страха. Они упали на колени, прося пощады, но увидели, что пощады им не будет, и бросились бежать. Стрекоза остался стоять на коленях, в жалкой позе, парализованный ужасом. Он вновь стал мальчиком, нежным, хрупким, пугливым. Леопард Леопардов взял его зубами, и он заверещал от страха. Леопард оставил охот-

ников, прячущихся за деревьями, и унес мальчика в темноту...

Нападающий Слон был самым могучим слоном всех времен. Его племя распространилось по всей равнине. Его признавали. Он был вожаком. Среди самцов он был как мужчина среди зеленых юношей, как Старейший — среди женщин. Его голова возвышалась над стадом. Слонихи укрывались в тени его ушей, бивнями он выворачивал с корнем огромные деревья. Когда он трубил, ему отвечали горы и все кругом замолкало. Его ступни наводили ужас на всех имеющих клыки и когти. Даже Леопард Леопардов, Леопард С Водяной Лапой, незаметно убегал, слышав топот этих ног по твердой земле. Нападающий Слон шел вперед, чтобы очистить мир. Он вышел на опушку. Сломал мешавшие ветки, и в глазах у него вспыхнул огонь. Перед ним были охотники, людишки, и они совершили убийство — Нападающий Слон увидел отрезанную ногу своей слонихи возле их костра. Он затрубил, и горы ответили ему. Он вырывал целые деревья, крушил скалы на своем пути. Старейший прыгнул в дупло, вопя от ужаса, но Нападающий Слон сломал дерево и зашвырнул его вместе с прячущимся в нем Ста-

рейшим за горы. Он опустился коленями на Прекрасную Птицу и Свирепого Льва! Стрекоза лежал, уткнув лицо в Землю, дрожа и обливаясь слезами. Нападающий Слон оставил его напоследок. Твердым, как дуб, коленом он придавил Светляка и Бешеного Носорога — придавил последнего из охотников — человека с распухшей лодыжкой и костяной флейтой в руке! Из рта человека хлынула кровь...

Шимпанзе, Который Здесь, вскочил на ноги и завопил, словно его огрели охапкой колючих веток. И свалился со скалы, полетел вниз, обдираясь о камни. Он уцепился за выступ и почувствовал, как лопается кожа на ладонях. Нога нащупала узкий карниз; он встал на него, прижавшись щекой к скале. Вокруг с криками носились птицы.

Наконец они улетели одна за другой, и он остался наедине с тишиной, созданной из камня и света. Он зализал ободранные пальцы и осмотрел колени, на которых запеклась кровь. Внизу под скалой валялись в кустах копье и флейта, нечаянно сброшенные им, когда он непроизвольно вскочил и сорвался с уступа. Он слез вниз, сунул флейту за пояс, взял копье в левую руку. Постоял, оглядывая лес и равни-

ну. Небесная Женщина была на самой макушке дерева. Он вдруг отчетливо понял, что охотники где-то там, далеко, и им нет до него никакого дела. Понял, что он — один и никому не нужен. Шимпанзе, Который Здесь. Отчаяние вспухло где-то в животе, словно он забеременел им, завладело всем его существом. Громкий вой, обращенный к горам и Небесной Женщине, лесам и равнине, исторгся из его груди, словно он был не Леопард, а собака. Он не думал о том, что это опасно; слезы катились по его лицу. Он выл и выл, и скала отвечала ему насмешливым эхом. Бил себя кулаком по голове и не чувствовал боли. Даже птицы в конце концов прониклись состраданием к нему и больше не отвечали недовольным клекотом и не хлопали крыльями. Только ворочались в гнездах, заслышав собачий вой и ответный вой скалы.

Наконец он иссяк. Он уже не выл, а тихонько скулил, и поскуливание ложилось на его горе, нисколько не облегчая боль. А потом словно что-то произошло — чувства его прояснились, открыв некое знание, указав нечто определенное. Он, ковыляя, побежал под утесами, по-щенячьи поскуливая на бегу:

— Ма-ма!

V

Небесная Женщина наполовину спустилась с дерева, но еще сияла так ярко, что на всем небосводе ей не было соперниц, кроме льдистой искры света над горами, за которые закатилось солнце. Шимпанзе уже не мчался, а бежал трусцой и время от времени поскуливал. Замедлить бег его заставили воспоминания — ему вспомнилось, как в те дни, когда живот у Небесной Женщины становился совсем круглым, дети прятались в хижинах и не выходили до утра, а девушки и матери занимались чем-то таинственным. И еще он вспомнил, что у него не было матери, что она умерла — конечно, вследствие несчастного случая, как это часто бывало с пугающими, загадочными натурами. Тогда он не слишком страдал, да и потом тоже; но теперь он чувствовал, как ее не хватает, даже не понимая, чем она могла бы унять его боль. Не было у него и близкой женщины, что было необычно, но все же случалось. Одиноким охотники считали, что им крупно повезло, раз у них нет женщины, если вообще задумывались об этом. И все-таки — растерявшийся, попавший в отчаянное положение, —

он бежал к женщинам; и когда боль стала привычной, как старая рана, в нем проснулась осторожность, как у человека, приближающегося к логову зверя. Его тень следовала за ним, нога не беспокоила. Что тоже было довольно странно, но тому было объяснение. Он бежал вдоль подножия скалы. Крутая стена поднималась справа от него, и склон под правой ногой был выше, отчего ступать на больную ногу было легче. Это обстоятельство тоже помогало ему продолжать бег и, казалось, неким непонятным образом заставляло стремиться туда, где, как он уже начинал догадываться, его вряд ли ждали видеть.

Но вот показалось облако пара над Горячими Источниками. Он замедлил шаг и пригнулся, отчего снова захромал. Копье он держал наперевес, словно в любой момент могла возникнуть необходимость воспользоваться им. Он двигался к реке и открытому месту, где всегда играли дети. Кругом царили тишина и покой. Он подходил все ближе, пока наконец не услышал плеск воды.

В одном из шалашей захныкал ребенок, где-то зашелся кашлем старик. Он стоял скрючившись на земле, выбеленной луной, ощущая не-

рвную дрожь в теле. Он облизнул губы и медленно осмотрелся, увидел деревья, окружавшие женскую деревню, и отступил назад на шаг или два в безопасность равнины и остановился. Внезапно, совершенно непонятно почему, вспомнил Дающую Имена Женщинам, и волосы у него на голове зашевелились.

В облаке испарений, поднимавшемся над Горячими Источниками, произошла перемена. Оно не менялось, когда он смотрел на него; но там уже произошло что-то новое, чего не было во все то время, пока он бежал по открытому месту, и чего не замечал прежде. Небесная Женщина лила свой свет на облако, пронизывая его насквозь, как лила на все вокруг. Но, кроме того, облако было подсвечено снизу, словно под ним горел костер, невероятным образом полыхающий на воде. Словно собственный маленький закат озарял облако бледно-розовым светом — таким бледным, что глаз не мог задержаться на нем, но улавливал на миг, а потом должно было пройти какое-то время, прежде чем отсвет, казалось, появлялся вновь. И тут — не только его взгляд, но и слух устремлялся туда, к заводам, — он слышал слабый звук, тонкий и непонятный. Он не поверил своим ушам, потому что это было

невозможно, как и костер на воде. Он отвел ногу назад и поднял копье на уровень плеча. Двинулся вперед, крадучись, как на охоте. Потом сглотнул слюну и рванулся наверх, к первой заводи, в которой колыхалась Небесная Женщина. Он бесшумно поднимался по склону: и в каждой заводи плясала белая Небесная Женщина. Он пошел быстрее, от заводи к заводи, пока не достиг открытого места перед жилищем Леопардов, и розовый отблеск огня разлился над ним, дрожащие блики заскользили по его лицу.

Леопардовая шкура, которой занавешен был вход, валялась на камнях у его ног. Так и есть — невероятный звук, который он услышал, был женский смех. Он прыгнул внутрь, и волосы у него стали дыбом, как если бы он столкнулся лицом к лицу с носорогом в брачный период.

Посредине площадки горел костер, и вокруг него лежали, сидели на корточках, слонялись женщины. С первого взгляда — охватившего все жилище, как охватывает ледяным своим светом все вокруг вспышка молнии, — он увидел двух девушек, почти совсем еще детей, с поднесенными ко рту леопардовыми черепами. Весело полыхал костер, но еще неистовой

было веселье на площадке, оглушавшее гомоном, визгом, воплями, пронзительным смехом. Напротив него, откинувшись на стенку внутреннего круга, где находились леопардовые черепа, полулежала Дающая Имена Женщинам, Та, Чье Сердце Переполнено Именами. В правой руке у нее был леопардовый череп, который она, наклонив, держала за клыки, и жидкость тонкой струйкой лилась в подставленный рот. Она посмеивалась, и пламя костра плясало в ее глазах, мерцавших сквозь упавшие на лоб спутанные волосы. Она заметила его и закатилась смехом. Неловко, по-женски, замахнулась и швырнула в него череп, который, пролетев далеко в стороне от его лица, стукнулся о землю. Он закричал в гневе и ужасе:

— Нет!

Но тут все лица повернулись к нему: лица, освещенные багровым светом костра, лица, бледные от лунного света, лица с мерцающими глазами и сверкающими зубами, лица в обрамлении растрепанных, спутанных волос. Одновременно раздались вопли, и смех, и крики:

— Мужчина! Мужчина!

В произведенной его появлением суматохе зловонная жидкость из покотившихся на зем-

лю черепов попала в костер, который зашипел, отплевываясь, и погас. К нему с воплями тянулись лица, в него вцеплялись руки. Он принялся угрожающе размахивать копьем, потом выронил его, отступил назад и побежал. Увидев, что находится лишь в шаге от кипящего источника и кружит вокруг него, кинулся вниз, к другой заводи, но и там были смех и белые лица, и он повернул назад. Его окружало тесное кольцо нежной плоти, из которого было не вырваться. Он стоял, оглушенный, а крепкие руки обвились вокруг него, как бечева болы. Женщины что-то кричали ему и друг дружке. Словно сами собой слетели с него пояс и набедренная повязка. Его повалили на землю, и нежной плоти, жаждавшей принять его, стало еще больше. Его чресла отвергали их с отвращением и ужасом; но их руки были умелыми, такими умелыми, и такими безжалостными, и коварными. Среди общего шума он различил свой крик, возносившийся выше и выше:

— О-о-о!

Выше, выше улетал его вопль от боли, что осталась внизу, между ног, и заставила напяться его тело. Нежная плоть под ним, нежная влажность и кошмар зубов не отпускали

его. Одной своей половиной он старался освободиться от этого кошмара, от тяжести нежных рук, обнимавших его, а другой — судорожно дергался, как зверь, раненный в позвоночник. Затем для него и для нее наступил невыносимо мучительный миг, они вскрикнули одновременно, и мелкие зубы заскрежетали у него в ухе. Но в той влажности могли быть, наверняка были зубы, и когда его тело исторгло свое желание, он вырвался из нее. Какое-то мгновение он был свободен, но тут же многочисленные руки вновь схватили его.

— Я! Я!

Визг, смех, лепет, и безжалостные умелые руки...

— О-о-о!

Выход был один — через вход, и пришлось ему еще раз войти во тьму жаждущей плоти. Потом он лежал — в ушах звенело — среди белых в лунном свете женщин, растянувшихся на камнях, и покатывавшихся со смеху девочек. Он чувствовал кровь на шее, ощущал ее привкус во рту. Запах женщины был повсюду, тело пропиталось им, борода, усы. Он попытался встать, но по-прежнему не смог высвободить ни рук, ни ног. Сзади появилась рука и поднес-

ла ко рту белый леопардовый череп; он отвернулся от зловонного запаха. Череп опять прижали к его рту, он стиснул зубы, сжал губы. Но незаметная рука легла ему на лоб, два пальца зажали ноздри, и он раскрыл рот, чтобы глотнуть воздух. Сквозь звон в ушах он едва слышал их смех; и тут отвратительная жидкость потекла ему в рот. Он глотнул, подавился, попытался увернуться от настойчивых рук, но жидкость продолжала течь, еще и еще, пока он не поперхнулся и последний глоток вылетел из него фонтаном брызг. Обессиленный, он прислонился спиной к скале, отдавшись объятиям, смеху, покусываниям и ласкам. Из ниоткуда возникла рука и волосами отерла ему лицо.

Наступила тишина, лишь в ушах звенело. Он икнул вслед за белой от лунного света девочкой и открыл глаза. Заслоняя собой горы, к нему приближалась женская фигура, и Небесная Женщина мягко освещала ее сбоку. Она шла, покачивая бедрами, — шелестела травяная юбочка, шуршали на груди бусы из раковин. Она пошатнулась, споткнувшись о камень, но продолжала приближаться. Отброшенные на одну сторону волосы переплелись с бусами. Она беззвучно смеялась, ее темные глаза, ка-

залось, проникали в самую душу. Она подошла ближе, и женщины, державшие его, захихикали, словно забава еще не кончилась. Продолжая беззвучно смеяться, она опустилась на колени между его раскинутых ног, наклонилась, опершись на левую руку, и ее волосы коснулись его бедер.

Он закричал:

— Нет!

Хихиканье перешло в хохот, и руки сжали его еще крепче. Ее правая рука метнулась вперед, как змея.

— О-о-о!

Когда он с криком упал, упал обратно на скалу и в руки женщин, что-то произошло в нем — но не между ног. В животе разлился жар от омерзительной жидкости, которой его напоили. Он чувствовал, как она разбухает внутри него, готовая вот-вот вспыхнуть огнем. Она вспыхнула, и пламя, рванувшееся внутри, едва не достало до мозга. Еще один леопардовый череп появился из-за спины, и другая рука зажала ему ноздри. И опять он глотал и глотал, пока не поперхнулся, снова выпустив фонтан брызг. Теперь пламя вспыхнуло и в мозгу. Он внезапно понял, что никогда раньше не замечал, как пре-

красна Дающая Имена Женщинам, как восхитителен и волнующ ее запах, как бело и молодо ее тело, как искусны и желанны ее руки! Женщины, смеясь, отпустили его, и он услышал, что смеется вместе с ними, в то время как пламя лижет ему мозг и — мягко, возбуждающе — между ног. Она тоже отпустила его; и он со смехом схватил ее руку и вернул обратно. Но она ласково высвободилась и кивком подала знак женщинам. Появилась новая чаша из черепа, и он, отказываясь, замотал головой, но она была настойчива. Ее нежное лицо с огромными глазами приблизилось вплотную; она рассмеялась низким грудным смехом и проговорила:

— Пей, Маленький Леопард!

Это было так забавно, в ее голосе было столько ласки, что он не мог не доставить ей удовольствия. И глотал, глотал, давясь и захлебываясь. Потом они смеялись вместе, и она, взяв его за руку, повела за собой. Он шел за нею, охваченный пламенем, и мир кружился вокруг. Даже увидев, куда она ведет его, он не ужаснулся. Между ним и его страхом пред женской деревней словно легла пропасть. Она качнулась к нему, и само собой получилось, что он обнял ее за талию. Оба засмеялись, и он подумал, что

она смеется над своей неловкостью. Они подошли к запретному положу, расшитому устрашающими узорами из раковин, и он закричал, ударил по шкуре кулаком. Она приподняла край шкуры, и он ощупью пролез на ту сторону. Она следовала за ним, подталкивая его в нужном направлении. Потом подошла ближе, и ее смех журчал как ручей. Он ничего не видел перед собой, только блестящую гладь реки и на ее фоне силуэт Дающей Имена Женщинам, такой красивой и молодой. Она прижалась к нему. Он почувствовал ее губы и язык, ее груди, прижавшиеся к его испачканной в крови груди. Его губы искали ее рот, но тут она выскользнула и исчезла. Он вглядывался во тьму и ничего не мог разглядеть, только странное сооружение у берега — и оттуда шел скверный, нет, уже не такой скверный запах. Потом он увидел ее темную фигуру рядом с треногой. Она чем-то зачерпнула и стала пить. Потом — знакомым движением, в котором было столько женственности, — бросила это что-то в реку. Повернулась, и, хотя тьма скрывала ее, он знал, что она ищет его. Она начала извиваться всем телом, как змея, и он, даже в темноте, увидел, как нежно, и влажно, и горячо ее тело. Увидел, как юбочка из тра-

вы упала к ее ногам. Она переступила через нее и исчезла во тьме. Он оглядывался вокруг.

— Где ты?

Снова зажурчал ее смех, тихо, как журчит ручей, который струится из глубин, льется, при-танцовывая, ночь и день потоком чистоты и жизни, питая травы и цветы.

— Здесь.

Он опустился на колени. Его лицо окунулось в аромат женщины, шедший от ее волос и шеи. Теплые ладони гладили его спину — никаких зубов, только тьма слияния, в которую он погрузился, в которой утонул. Все мысли покинули его и сама возможность страха. Конец был как начало и незаметно перешел в сон.

VI

Небесная Женщина покинула небосклон, унеся свой свет с собой, и речная рябь осветилась с другой стороны. В деревьях вокруг женской деревни завела нескончаемую песню птица. Заворковали вяхири и сизари. Ударила рыба в реке. Первые солнечные лучи поползли с верхушек деревьев вниз и коснулись полога из шкур

на конце деревни, скользнули еще ниже, сверкнули на отполированной поверхности грубого подобия скамьи и принялись исследовать множество разнообразных предметов: связки тростника, округлость чашек из кокосовой скорлупы и лодок. Свет коснулся земли, подобрался к ноге с распухшей лодыжкой. Нашел другую пару ног, согрел щиколотку, бедро. По ту сторону полога день вступал в свои права. Солнечный луч нашел человеческое лицо.

Шимпанзе откатился в сторону, пряча глаза от солнца. Он пришел в себя, выплыв из тьмы без снов, потом ощутил свое тело и гнездившуюся в нем слабую непривычную боль, как будто он слишком долго пролежал на солнце. Странное это ощущение заставило его открыть глаза прежде, чем он что-нибудь вспомнил. Но только он их открыл, как тут же разинул рот. Он увидел перед собой женскую, в этом не было сомнений, спину с разметававшимися по ней черными волосами. Он дернулся, сел, и дремлющая в голове боль тоже дернулась и заходила ходуном. Вскочил на ноги. Дающая Имена Женщинам застонала, что-то пробормотала и повернулась на другой бок. Потом села и провела рукой по лицу, убирая волосы. Она не была ни

молода, ни прекрасна. Лицо и тело в пыли, на голове колтун. Она заморгала, стиснула лоб и сморщилась. Ее взгляд скользнул по Шимпанзе, и он отступил, прикрывая руками причинное место. Она взглянула на треногу с провисшей шкурой и замерла, словно увидела ядовитую змею. Облизнула губы и пробормотала:

— Так ты сделал это!

Она с ненавистью посмотрела на него, и он съежился под ее взглядом.

— Ты, голая обезьяна!

Он стоял, будто окаменев, растерявшись настолько, что забыл, что нужно быть осторожным. Она посмотрела на себя, и выражение отвращения исчезло с ее лица. Она прикусила губу.

— Оба мы голые обезьяны.

Она встала и направилась к реке. Шла пошатываясь — не покачивая станом, словно пальма, потеряв всю свою привлекательность и грациозность. Взяла чашку из скорлупы кокоса, опустилась на колени, зачерпнула из реки и долго пила не отрываясь. Потом несколько раз плеснула на себя, пока струйки воды не потекли по лицу и телу.

Шимпанзе все вспомнил. Его как громом поразило. Он лег на землю, уткнувшись лицом

в пыль. Даже заплакать он не мог, а так хотелось.

Вдруг перед глазами возникли ступни и концы травяной юбочки и раздался мягкий голос:

— Ладно, надо решить, что делать. Сядь!

Он перевернулся и сел скрючившись, все так же закрывая ладонями пах. Пробормотал:

— Моя набедренная повязка...

Ноги скрылись, и чуть погодя от реки донеслось:

— Откуда мне знать, где она?

Он осторожно посмотрел в ее сторону. Она зачерпнула из шкуры, висевшей на треноге, и принялась пить. До него донесся знакомый запах, и он скривился от отвращения. Не найдя что сказать, он устался в землю перед собой. Некоторое время слушал, как она возится у реки: трет себя, ополаскивается, взмахивает мокрыми волосами. Опять перед его глазами появились ноги, теперь чистые. Ее юбочка шуршащим кругом легла на землю, когда она опустилась перед ним на колени.

— Что же ты, так и не досмотришь на меня?

Он поднял голову. Она опять была Дающей Имена, бусы из раковин белели на ее прекрасной груди, волосы не закрывали лица, а пада-

ли на спину. Слезы выступили у него на глазах, и он в замешательстве только и произнес:

— Я умру.

— Да что с тобой? Кто это тебе сказал? Умирают только женщины.

Он снова устался в землю.

— Я умру.

Она коснулась его руки:

— Могучий охотник умрет? Ты можешь погибнуть, это правда. В этом твоя слава, разве не так? Но умереть! Ведь если бы могучие охотники верили, что все они умрут, как им стало бы одиноко, подумай! Такое не может вынести ни один мужчина!

Он робко поднял голову. Она улыбалась ему. Она опять была молода. Молоды были ее глаза и огромны. К потрясениям минувшей ночи добавилось еще одно — что Дающая Имена Женщинам может смотреть на него вот так: одновременно и весело, и печально.

Она потрепала его по руке и сказала, словно обращаясь к ребенку:

— Ну что, уже лучше?

Он несколько оправился от смущения и теперь почувствовал, как его охватывает негодование. Он открыл было рот, чтобы ответить, но она опередила его:

— Ты не должен был охотиться на нас, бедных женщин, когда у Небесной Женщины живот совсем круглый. Кто знает, какие сны она найдет на тебя?

Вновь ожило вчерашнее горе.

— Я не виноват — меня прогнали с охоты.

— Почему?

Горе стало огромным.

— Там камень торчал и ветка нависла. Нападающий Слон упал лицом перед газелью...

Она остановила его нетерпеливым жестом.

— У тебя слабая лодыжка. Все знают об этом!

— А когда я упал, газель перепрыгнула через меня!

Она снова села перед ним на корточки. Нахмурилась и задумчиво сказала, словно себе самой:

— Понимаю. Тебя должны были бросить в реку. Но очень трудно судить в таких случаях, хорошо ли вправлена нога сразу после рождения — о, ну-ну, Леопард!

Качнувшись вперед, она стала на колени и заглянула ему в лицо.

— Не надо бояться! Тебя же не бросили в реку! Смотри, река — там, а ты — здесь!

Горе стало невыносимым. Он поднял голову и завыл; из глаз брызнули слезы.

— Они прозвали меня Шимпанзе!

Она обняла его, и он уткнулся ей в плечо, горько рыдая. Она гладила его по спине и приговаривала:

— Ну будет тебе, будет...

А у самой тоже вздрагивали плечи.

Наконец он успокоился. Она подняла его голову за испачканный подбородок, сказала:

— Они забудут об этом. Вот увидишь, мой маленький Леопард. Мужчины могут забыть все. У них всегда найдется новая песня, или мелодия, или история. Какая-нибудь новая шутка, которую они будут повторять без конца, или красивый камушек, который станут показывать друг другу, или необычный цветок, или замечательная новая рана, которой станут похвастаться. Ну же — и ты забудешь свой сон, правда?

— Сон?

— Ну да, сон о том, что было прошлой ночью, — обо всем том безумии. Небесная Женщина наслала его на тебя. И забудешь о том, что было в жилище Леопардов...

Он хмуро уставился себе под ноги:

— Я не забуду.

— О нет, забудешь!

Он метнул на нее быстрый взгляд и тут же снова устался в землю.

— Слишком много песен... слишком много листьев в лесу... слишком много слов, пустых, как пыль... тебе никогда не поверят... никогда. Как они могут поверить?

Она подвинулась ближе и горячо заговорила:

— Слушай, Шимп, слушай, Нападающий Слон. Леопарды ничему не поверят. Ты же сам говорил.

— И что?

— Разве ты не Леопард?

— Уж наверное Леопард.

— Тогда, — заключила Дающая Имена Женщинам, — и ты не можешь поверить, что все это было, так ведь?

Шимпанзе задумался. Повисло долгое молчание.

Она вновь села, поджав ноги и опершись на одну руку, чертя кончиком пальца узоры в пыли. Глаза ее следили за пальцем.

— Во всяком случае, — сказала она наконец, — не думаю, что я стала бы обсуждать мой сон с другими. Особенно с Разящим Орлом и Светляком. Понимаешь, Разящий Орел с Вишней и Светляк с Маленькой Рыбкой...

— С Вишней? С Маленькой Рыбкой?

Они опять надолго замолчали.

— Ну ладно, — не выдержала она, — ладно, понимаю тебя.

Все для него упрощалось. Это был сон; сон прошел, и теперь он думал о жестокости Леопардов.

— Клонк.

— Что? — не поняла она.

— Клонк. Моя лодыжка говорит: «клонк».

Он поднял на нее глаза — может быть, ища сочувствия. Но она, отвернувшись, смотрела на пузатый мешок на треноге. На ее лице вновь появилась кривая улыбка. Все ее слова были напрасны.

— И во мне звучит «клонк». Но ведь не узнаешь, что у ребенка в голове.

Она посмотрела на него и опять принялась чертить узоры на земле.

— Когда у меня будет ребенок...

Он похолодел:

— Какое отношение это имеет ко мне?

— О, никакого, конечно, никакого! Небесная Женщина сама все устроила! Тем не менее у меня не было ребенка с тех пор, как моего Леопарда убило солнце. Странно, правда? Но теперь...

Он старался понять, что она хочет сказать.

— Теперь?

Она выпрямилась и провела рукой по лбу.

— Мне тоже снились сны. Но они ничего не значат. Ничего, ничего. Чего нам бояться? Небесную Женщину? Никто не знает, что она такое или что такое мы, кроме того, что мы ни на что не похожи? Нападающий Слон — сон, твой сон...

— Что — мой сон?

Он увидел, как густая краска заливает ей грудь, шею, щеки.

— Когда я привела тебя сюда, это было не совсем уж плохо?

Ему вспомнились нежность без зубов, тьма, уничтожившая его страх.

— Нет. Нет.

Ее щеки вспыхнули румянцем.

— Понимаешь... ты можешь... ну... Нападающий Слон, ты можешь быть моим Леопардом. Когда вернешься с охоты, можешь войти в мою хижину... если хочешь. Вот.

Он подумал о Леопардах, их благоговейном страхе перед Дающей Имена Женщинам. Горе сменилось великим облегчением.

Он хмуро буркнул, скрывая радость:

— Если тебе так хочется.

Она подалась к нему и сказала со спокойным достоинством:

— Нападающий Слон, ты сможешь вернуть себе друзей.

За пологом раздался громкий девичий крик:

— Пальма! Пальма! О Пальма!

Дающая Имена Женщинам вскочила на ноги и быстро подошла к пологу, крикнув в ответ:

— Оставайся там!

— Пальма!

— Что стряслось?

— Пальма, они возвращаются. Леопарды возвращаются! По крайней мере на день раньше!

Дающая Имена Женщинам молча постояла, прижав ладони к щекам. Потом быстро взглянула на Шимпанзе и опустила руки.

— Слушай... Уклейка. Сообщи остальным. Приберите все...

— Мы уже убираемся!

Дающая Имена крикнула ей вслед:

— Все-все приберите, понятно! Чтобы следа не осталось!

Шимпанзе принялся ходить вокруг, шаря глазами по земле.

— Моя набедренная повязка... где она?

— Откуда мне знать! Небось где-нибудь наверху, у заводов!

— Не могу же я...

— Ты должен уйти... должен!

— Как? И куда?

— О!..

— Голым?

— погоди. Я посмотрю, где Леопарды.

Она торопливо проскользнула под пологом, миновала рощу, быстро полезла по склону. Пояс и набедренная повязка плавали в нижней заводи. Она выловила их, оглядела из-под руки равнину. Леопарды были даже ближе, чем говорила Уклея. Если б она допускала, что слух ее столь же остр, как в девичестве, то могла бы поверить, что различает, как они поют. Но все равно, она видела, как они шагают гуськом, равномерно взмахивая копытами.

— Ра! Ра! Ра! — проговорила Дающая Имена Женщинам. — Ра! Ра! Ра!

Она заморгала от слепящего солнца и еще ниже опустила ладонь над глазами. Двое охотников держали на плечах шест, на котором висело что-то. Судя по размеру, цвету...

— О, Небесная Женщина, неизменная и вечная! Только не опять леопард!

Примчавшись в деревню, она швырнула Шимпанзе его набедренную повязку.

— Надевай и уходи.

— Куда? Как?

Она принялась колотить себя по голове:

— Мало у меня других забот? Убирайся! Прыгай в реку... переберись на другую сторону и беги через лес...

— Иду, иду...

— Уж не думаешь ли ты, что я потерплю мужчину, который шагу не сделает без моей подсказки?..

Он плюхнулся в воду, держа набедренную повязку над головой. Поднялся на ноги и побрел к другому берегу, дрожа от холода. Оглянулся напоследок и увидел ее у треноги с кокосовой чашкой в руке. А затем ему пришлось пробираться сквозь гущу тростника и нависших ветвей. Он вылез на топкий берег, стал под деревом и оделся. Теперь, оказавшись в безопасности, он не прячась зашагал через лес и вышел к скалам. Незаметно обошел жилище Леопардов, поднялся к Горячим Источникам и спустился с другой стороны. Ему было видно, как Леопарды появились на открытой площадке перед деревней. Девочки и женщины танцевали от радости, бежали навстречу, обнимали своих мужчин, украшали их цветами. И дети

тоже плясали, бросали отцам цветы и хлопали в ладоши. Мужчины пели, размахивая над головой копьями, а древний старик Леопард стоял возле своей хижины, опершись о копье, кивал головой и смеялся беззубым ртом. Солнце сияло, наверно, не так ослепительно, как улыбки. Шимпанзе крадучись спустился вниз и пристроился в хвост процессии охотников, позади Прекрасной Птицы. С леопарда, привязанного за лапы к шесту, капала на землю кровь. Прекрасная Птица, смеясь, обернулся, увидел Шимпанзе и обнял его!

— Где был Нападающий Слон? Мы опять нашли след, который он обнаружил первым! Мы убили его леопарда! Мы пели вокруг огненного цветка, но с нами не было Нападающего Слона, и не было его флейты! Как мы плакали!

Светляк оглянулся, не выпуская из объятий девушку:

— Где был Поющий Ветер? Мы без него плакали, как дождевая туча!

Стрекоза подошел к Шимпанзе и робко взял его за руку. У Шимпанзе слезы брызнули из глаз.

Внезапно все смолкли. Шимпанзе сквозь слезы посмотрел туда, куда устремились все взоры. От деревни, направляясь к ним, шла

Дающая Имена Женщинам, Именовательница Женщин, Та, Чье Сердце Переполнено Именами. Стан ее покачивался, как пальма. Белые раковины бус негромко позвякивали на шее, щиколотках, запястьях. Длинные темные волосы плавной волной скромно прикрывали грудь, шелестела травяная юбочка. Она остановилась — одна нога отведена назад, руки широко раскинуты. Чуть согнула колени и склонила голову. Выпрямилась, скрестила руки на груди и приветливо улыбнулась.

— Приветствую вас, могучие Леопарды! Каких зверей стаи, какое стадо буйволов, какой львиный прайд стремительней вас и яростней? И приветствую моего Леопарда, Нападающего Слона, который может войти в мою хижину, когда пожелает!

Ошеломленный Шимпанзе оглох от радостных воплей сородичей. Леопарды окружили его, в лицо ему летели цветы, а Разящий Орел обнял его и расцеловал.

Она вновь заговорила:

— Где ты был, Нападающий Слон? Долги и одиноки были мои ночи без тебя!

Волна восторга и желания захлестнула его. Он выхватил у Стрекозы копье и, воздев его

над головой, притопнул здоровой ногой и завопил:

— Я — Водяная Лапа! Я — Раненый Леопард!

Разящий Орел и Свирепый Лев заставили его преклонить колена. Старейший поднял копье и коснулся им плеча Шимпанзе:

— Водяная Лапа! Раненый Леопард!

Слезы застилали ему взор, и он, поднявшись на ноги, не видел Дающую Имена Женщинам, однако слышал, как она продолжала:

— Теперь, могучие Леопарды, возвращайтесь в свое тайное убежище. Заберите с собой ужасную силу этого леопарда, который изумляет и заставляет сжиматься от страха нас, женщин; мы смиренно приготовим для вас праздничную еду: сытный суп из термитов, сушеную рыбу, коренья и плоды, прохладную чистую воду.

— Ра! Ра! Ра!

Итак, все завершилось счастливо, и перемены были на благо всем. Гора вела себя спокойно больше ста тысяч лет; и хотя потом извержение уничтожило сей курорт на Горячих Источниках, к тому времени в других местах обитало множество людей, так что это не имело большого значения.

Чрезвычайный посол

I. Десятое чудо света

Голос кастрата легко проникал сквозь занавеси, отделявшие галерею от внутренних покоев виллы. Его сказанию о пламенной любви, как и следовало ожидать, недоставало страсти. Мелодия взмывала над землей и парила, голос то набрасывался на последнюю треть тона, наводя на мысль о муках здоровой человеческой плоти, то переходил на уверенное вибрато, а то вдруг снижал и осторожно синкопировал. Юноша, что стоял, прислонясь к одной из колонн галереи, горестно покачивал головой. Лоб его бороздили морщины — большая редкость в столь юном возрасте, веки, словно налитые свинцом, были устало опущены. Сад за его спиной утопал в великолепии заката. Даже на фоне бесстрастного, как голос кастрата, пурпурного заката нетрудно было заметить, что юноша иззя-

щен, высок, рыжеволос и кроток. Вдруг губы его затрепетали, он сокрушенно вздохнул.

Старик, сидевший у другой колонны, оторвался от своих бумаг.

— Маммилий.

Маммилий вздрогнул, но глаз не открыл. Старик внимательно посмотрел на него. Трудно сказать, что выражало в тот момент лицо старика, — лучи солнца, отражаясь от каменных плит, подсвечивали его снизу, отчего нос казался приплюснутым, а вокруг рта резче обозначились глубокие складки деланного благодушия. В них могла таиться и озабоченная улыбка. Он чуть возвысил голос:

— Почему кастрат не поет?

Послышались звуки арфы: тоника, субдоминанта и доминанта — три тона, на которых зиждется вселенная. Голос взмыл, а солнце продолжало опускаться с надменной и бесстрастной неумолимостью. Маммилий поморщился, по взмаху руки старика голос умолк, будто его выключили.

— Ну скажи мне, что тебя мучит?

Маммилий открыл глаза, повернулся и посмотрел на стройные ряды кипарисов, заросли тика и можжевельника — каждой террасе сада

они придавали свой оттенок зеленого цвета и выразительную законченность, — потом скользнул взглядом по самой дальней поверхности, сверкающему морю.

— Ты не поймешь.

Старик скрестил ноги в сандалиях, удобно устроил их на низенькой скамеечке и откинулся на спинку кресла. Руки он сложил так, что кончики пальцев соприкасались; в последних лучах заходящего солнца блеснул перстень с аметистом. Лучшие сирийские красильщики могли позавидовать закатным цветам его тоги, широкая пурпурная кайма казалась почти черной.

— Понимать — мое ремесло. Пусть ты и отпрыск побочной ветви императорской семьи, я все же твой дед. Скажи мне, что тебя мучит?

— Время.

Старик с серьезным видом кивнул:

— Время течет как вода сквозь пальцы. Мы цепенеем от ужаса, обнаружив, как мало его осталось.

Горестно покачивая головой, Маммилий закрыл глаза, морщины снова легли на его чело.

— Время не движется. День длится вечность. Бесконечной скуки этой жизни мне не вынести.

Старик на мгновение задумался. Он опустил руку в корзину, стоявшую справа от него, достал свиток, пробежал его взглядом и бросил в корзину слева. Немало искусных рук потрудились, чтобы придать старику спокойную величавость, которая не тускнела даже на фоне великолепного сада в закатном освещении. Весь он — от светящегося черепа под редкими седыми волосами до ухоженных пальцев ног — являл собой законченное совершенство.

— Миллионы людей должны верить, что внук Императора, пусть даже незаконнорожденный, счастлив душой и телом.

— Я перепробовал все виды человеческого счастья.

В горле Императора что-то забулькало, и, не закашляйся он и не высморкайся шумно, на римский манер, могло показаться, что он вот-вот рассмеется. Император вернулся к своим занятиям.

— Час назад ты хотел помочь мне разобраться с этими прошениями.

— Это было до того, как я начал их читать. Неужели весь мир не способен думать ни о чем, кроме выпрашивания милостей?

По саду пролетел соловей, сел на кипарис с теневой стороны и, как бы пробуя голос, взял несколько нот.

— Напиши еще несколько изящных стихотворений. Мне больше всего по душе те, что ты сочинил для записи на яичной скорлупе. Я гурман, и мне это особенно близко.

— Оказывается, кто-то уже успел это сделать до меня. Все, больше не напишу ни строчки.

Они немного помолчали, готовые внимать соловью, но тот, словно смутившись столь изысканной аудитории, вспорхнул и улетел.

Тога Маммилия заколыхалась — его перевернуло.

— Столько лет оплакивать Итиса. Какая глупая чувствительность!

— Попытай удачи в других искусствах.

— В декламации? В кулинарии?

— Ты слишком робок для первой и чересчур молод для второй.

— А мне казалось, ты приветствуешь мой интерес к искусству готовить пищу.

— Ты должен, Маммилій, уметь не только произносить слова, но и понимать их. Кулинария — не улада юности, а ее воскрешение в памяти.

— Отец Отечества изволит выражаться туманно. А мне все равно скучно.

— Не будь ты худ как щепка, я прописал бы тебе настойку александрийского листа.

— Благодарю покорно. Мой кишечник и без того работает удручающе регулярно.

— Так, может быть, виной всему женщина?

— Как ты можешь подозревать меня в такой вульгарности?

На сей раз Император не совладал с собой. Он, правда, на какое-то время сумел сохранить невозмутимое выражение лица, но тело предательски задержалось в конвульсиях смеха. Смеялся он долго, до слез. Лицо внука постепенно заливалось краской, сначала цвет его достиг багровости заката, а потом стал и вовсе лиловым.

— Неужели я так смешон?

Император смахнул слезы с глаз.

— Прости. Не знаю, поймешь ли ты, но моя придирчивая любовь к тебе во многом связана с твоей... Маммилий, ты так отчаянно современен, что из боязни прослыть старомодным лишаешь себя многих радостей жизни. Если бы ты только мог посмотреть на мир моим печальным и угасающим взглядом...

— Не имею ни малейшего желания. Ничто не ново под луной. Все изобретено, все написано. Время остановилось.

Император бросил в корзину очередное прошение.

— Ты когда-нибудь слышал о Китае?

— Нет.

— В первый раз я услышал о Китае двадцать лет назад. Я считал, что это остров где-то за Индией. С тех пор до меня порой доходили отрывочные сведения. Так вот, Маммиллий, Китай — это огромная империя, больше нашей.

— Какая нелепость! Это противоречит законам природы.

— И тем не менее это так. Иногда меня посещает видение: наш земной шар держат, если так можно выразиться, две руки — одна смуглая, другая, по моим сведениям, — желтая. Может быть, как в известной комедии, человек наконец встретится со своим близнецом, пропавшим когда-то без вести.

— Выдумки путешественников.

— Я пытаюсь доказать тебе, что мир необъятен, а жизнь прекрасна и удивительна.

— Не хочешь ли ты предложить мне отправиться в путешествие?

— Морем ты отправиться не можешь, а по суше и рекам на это уйдет не меньше десяти лет, да и то если аримаспы пропустят тебя через свои владения. Оставайся дома и развлекай старика, который чувствует себя все более одиноко.

— Спасибо за позволение быть твоим шутком.

— Послушай, Маммилий, — строго сказал Император, — шел бы ты на войну. И чем она будет кровавей, тем лучше для тебя.

— Пусть этим занимается твой законный наследник, дубиноголовый Постумий. Пусть воюет сколько его душе угодно. К тому же на войне жизнь утрачивает цену, а я и без того нахожу ее достаточно ничтожной.

— В таком случае Отец Отечества бессилен помочь родному внуку.

— Надоело сидеть без дела.

Император взглянул на Маммилия пристальнее, чем того требовала последняя фраза.

— Может, я был с тобой неосторожен? Смотри, Маммилий. Наша необычная дружба держится только на том, что ты не суешь свой нос в чужие дела. Так что не сочти за труд посидеть без дела. Я хочу, чтобы ты жил долго, даже если в глубокой старости ты и умрешь от скуки. Выбрось из головы честолюбивые планы.

— Я не стремлюсь к власти.

— Продолжай убеждать в этом Постумия.
Пусть он правит. Ему это нравится.

Маммилий покосился на занавеси, шагнул вперед и прошептал:

— А ведь ты предпочел бы, чтобы пурпурную кайму твоей тоги унаследовал я!

Император резко подался вперед и торопливо ответил:

— Если бы агенты слышали тебя, ни тебе, ни мне не прожить и года. Никогда больше не говори таких вещей. Это приказ.

Маммилий вновь прислонился к колонне, а Император взял очередной свиток, подержал его в лучах заходящего солнца и отбросил в сторону.

Оба молчали. Сумерки и тишина действовали на соловья ободряюще — он вернулся на кипарис и снова запел. В голосе Императора зазвучали душевные нотки:

— Спустись в сад, минуй лужайку, пруд с лилиями и войди в туннель под скалой. Еще сотня шагов — и ты у причалов гавани...

— Окрестности я знаю неплохо.

— Когда попадешь туда, уже стемнеет, так что увидишь немного, но ты скажи себе: «Вот здесь, защищенные от моря двумя молами,

стоят сотни судов, тысяча домов, живут десять тысяч людей. И каждый из них ничего и никого не пожалеет, чтобы стать пусть и побочным, но любимым внуком Императора».

— Склады, таверны, бордели. Грязь, деготь, ворвань, нечистоты, пот.

— Да... человечество ты не жалуешь.

— А ты?

— Я его принимаю таким, какое оно есть.

— А я его избегаю, каким бы оно ни было.

— Мы должны добиться, чтобы Постумий дал тебе в управление какую-нибудь провинцию. Хочешь Египет?

— Грецию, если уж иначе нельзя.

— Боюсь, не получится, — сказал Император с грустью в голосе. — На Грецию большая очередь.

— Тогда Египет.

— Часть Египта. Если ты, Маммилий, поедешь туда, то прежде всего ради собственного блага. Когда ты вернешься, от меня останется лишь горстка праха да один-два памятника. Будь же счастлив, хотя бы для того, чтобы скрасить последние дни дряхлеющего слуги народа.

— Да чем же Египет может меня осчастливить? Не то что в Африке — в целом мире нет ничего нового.

Император развернул еще один свиток, прочитал, улыбнулся, затем позволил себе рассмеяться.

— А вот и для тебя кое-что новое. Это просители из твоих будущих владений. На твоем месте я бы не упустил случая познакомиться с ними.

Небрежным жестом Маммилий взял протянутый свиток и, встав к Императору спиной, повернул его к свету. Опустив один конец свитка — бумага сразу же начала сворачиваться, — он посмотрел, ухмыляясь, через плечо. Глаза Маммилия и Императора встретились, и они дружно расхохотались. Император смеялся весело, от души, от смеха он просто помолодел. Точно так же смех подействовал и на Маммилия — голос его то и дело срывался на фальцет.

— Этот человек, видите ли, хочет поиграть с Цезарем в морской бой.

Так они смеялись вдвоем под соловьиные трели. Император кончил смеяться первым и кивнул в сторону занавесей. Маммилий подошел, отдернул одну половину, произнес сухо и официально:

— Император примет просителей Фанокла и Евфросинию.

Потом, улыбаясь и многозначительно переглядываясь с Императором, возвратился на прежнее место у колонны.

Поговорить с Цезарем запросто было, разумеется, нельзя. Из-за занавесей появился тучный секретарь, он опустился на одно колено, а на другом пристроил восковые дощечки. Затем, с головы до ног закованный в доспехи, на галерею с грохотом и лязгом протопал солдат. Он встал за спиной Императора по стойке «смирно», со скрежетом рванул меч из ножен и вскинул клинок острием вверх. Послышались приглушенные голоса, и двое рабов развели занавеси в стороны. Кто-то ударил жезлом в каменный пол.

— Император позволяет вам приблизиться.

В проходе появился мужчина, за ним женщина с большим свертком в руках. Рабы опустили занавеси, и, ослепленный закатом, мужчина на мгновение остановился — этого хватило, чтобы они рассмотрели его. Поверх светлой туники на мужчине был длинный зеленый плащ. Его темные волосы и борода были всклокочены: то ли он шел так стремительно, что неподвижный воздух обвевал его, точно ветер, то ли где-то в пути пострадал от капризов погоды —

в личных покоях Императора природе не позволялось проявлять свой дурной нрав. Плащ вошедшего был заношен, кое-где залатан и покрыт пылью; руки и ноги давно не мыты, ногти не чищены. Мясистое и бесформенное лицо было не выразительнее затылка.

Его спутница незаметно отступила в темный угол, такое место для нее было, видимо, привычным. Там она мало чем отличалась от задрапированной колонны — ее лицо было спрятано под покрывалом. Она стояла вполоборота к мужчинам, чуть склонившись над свертком. Ниспадавшие складки ее длинных одежд позволяли рассмотреть только часть сандалии и точеной ножки. Солдат с обнаженным мечом стоял не шелохнувшись; лишь, скосив глаза, ощупывал ее взглядом, уверенно и умело снимал одеяние за одеянием; изощренная интуиция, что приходит только с богатым опытом, позволяла ему по мельчайшим деталям воздать должное прелестям незнакомки. Он видел полуприкрытую кисть руки и округлость колена, едва намечавшуюся под тканью столы. Наконец глаза солдата оторвались от незнакомки: левый глаз неотрывно смотрел вперед по одну сторону меча, правый — по другую, губы его

округлились, в более подходящей обстановке он бы наверняка присвистнул.

Император, предвидевший такой оборот событий, бросил быстрый взгляд за спину. Солдат не мигая смотрел прямо перед собой. Поверить, что его глаза когда-то двигались или смогут двигаться впредь, было решительно невозможно. Император повернулся к внуку.

Маммилий наблюдал за женщиной искоса, он ошупывал ее взглядом, снимая одеяние за одеянием; естественный и безграничный оптимизм юности рисовал в воображении прелести незнакомки.

Император с довольным видом откинулся в кресле. Мужчина, взяв у спутницы сверток, стоял в растерянности, не зная, куда его положить. Он близоруко щурился на императорскую скамеечку для ног. Император ткнул согнутым пальцем в сторону секретаря:

— Запиши.

Он не мог оторвать от Маммилия радостного и торжествующего взгляда.

— Мы много слышали о камнях Пирры, о том, как Иегова сотворил человека из праха, о красной глине Тота, но я всегда считал, что кто-то из богов увидел — человек ползет на четве-

реньках и, дав ему коленом под зад, одним пинком поставил на ноги. Сенсуалист в это верит. Мудрец этого просто не забывает.

Но Маммилий его не слышал.

Нелепый проситель наконец-таки решился. Он развернул сверток и поставил на каменный пол между Императором и Маммилием модель корабля. Модель была не больше двух локтей в длину и на вид неказиста. Император перевел взгляд на просителя:

— Значит, ты и есть Фанокл?

— Фанокл, Цезарь, сын Мирона, александриец.

— Мирона? Надо понимать, что ты — библиотекарь.

— Я был, Цезарь... помощником... пока...

Он с яростным остервенением махнул рукой в сторону корабля. Император продолжал спокойно смотреть на него.

— И ты хочешь поиграть с Цезарем в морской бой?

Император старался скрыть насмешку, но его выдал голос. В отчаянии Фанокл повернулся к Маммилию, но тот был все еще поглощен созерцанием незнакомки и теперь уже не таился. Неожиданно Фанокл разразился потоком слов:

— Везде, Цезарь, одни препоны — снизу доверху. Говорили, что я-де трачу время зря, занимаюсь чепухой, черной магией. Я беден, и когда кончились деньги отца... он ведь оставил немного... самую малость... я их истратил... Что же нам делать, Цезарь?

Император молча следил за ним. Он понял, что не закат ослепил Фанокла. Даже в сумерках было видно, что грек близорук. Изъян этот придавал ему вид рассерженный и удивленный, казалось, что где-то перед ним постоянно находится источник гневного раздражения.

— ...и я подумал: вот если б я мог попасть к Цезарю...

Но на пути Фанокла громоздились помехи и препятствия, от людей он видел только козни и издевательства, испытал их злобу и гонения.

— Сколько ты отдал, чтобы попасть ко мне?

— Семь золотых.

— Не так уж много. Ведь я не в Риме.

— Это все, что у меня было.

— Маммилий, позаботься о том, чтобы Фанокл не остался в убытке. Маммилий!

— Слушаюсь, Цезарь.

С крыши и из углов поползли тени. На высоком кипарисе продолжал заливаться соло-

вей. Император, как недавно солдат, скосил глаза на женщину, а затем метнул взгляд на Маммилия, который у солдата интереса не вызывал.

— А твоя сестра?

— Евфросиния, Цезарь, свободная женщина и девица.

Император медленно повернул лежащую на коленях руку ладонью вверх и стал сгибать указательный палец, пока не изобразил подобие подзывающего жеста. Не смея противиться высочайшему повелению, Евфросиния бесшумно вышла из угла и застыла перед ним. Ритм драпировок изменился, покрывало около рта едва заметно подрагивало.

Император мельком взглянул на Маммилия и подумал: ничто не ново под луной. Потом повернулся к Евфросинии:

— Покажи нам свое лицо.

Фанокл резко шагнул вперед и чуть не наступил на модель. Чтобы не раздавить ее, он сделал несколько судорожных движений, похожих на неуклюжие танцевальные па.

— Цезарь...

— Вам с сестрой пора привыкать к нашим западным манерам.

Он перевел взгляд на перетянутые ремешками пальцы ее ног, на выступавшее под тканью округлое колено и, наконец, на немыслимо красивые руки, в волнении сжимавшие край столы. Слегка кивнув, он ободряюще протянул вперед руку, на которой блеснул перстень с аметистом.

— Здесь никто не хочет обидеть тебя, госпожа. Скромность — достойная оправа целомудрия. Но чтобы мы знали, с кем говорим, позволь нам увидеть хотя бы твои глаза.

Голова под покрывалом повернулась к брату, но тот стоял, беспомощно раскрыв рот и до боли стиснув пальцы. Наконец ее рука осторожно потянула покрывало вниз и открыла верхнюю часть лица. Женщина посмотрела на Императора, и голова ее качнулась, словно маковка на тонком стебельке.

Император смотрел ей в глаза, улыбаясь и хмурясь одновременно. Он не произнес ни слова, но безмолвная весть о его повелении уже понеслась. Занавеси раздвинулись, и на галерею торжественным шагом вышли три женщины. В сложенных чашей руках каждая несла пригоршню света; лица сияли, пальцы прозрачно розовели. Не отрывая взгляда от Евфросинии, Император легкими движениями руки принял-

ся расставлять живые светильники по галерее. Один он поместил справа и чуть спереди от Евфросинии, другой установил сзади, отчего свет мгновенно заиграл и заискрился в ее волосах. Третий он придвигал слева все ближе и ближе, потом начал поднимать, пока тот не оказался так близко от лица Евфросинии, что локон затрепетал в струящемся тепле.

Император повернулся к Маммилию — тот безмолвствовал. Лицо его было таким растерянным, словно он только что очнулся от глубокого сна. Неожиданно Евфросиния опустила руку и закрыла лицо — погас четвертый светильник. Меч в руке солдата дрогнул.

Император откинулся в кресле и сказал, обращаясь к Фаноклу:

— Ты привез с собой десятое чудо света.

Пот заливал лицо Фанокла. Со смущенным облегчением он посмотрел на модель корабля.

— Но я еще не объяснил, Цезарь...

Император махнул рукой:

— Успокойся. Тебе и твоей сестре здесь ничего не угрожает. Маммиллий, они будут нашими гостями.

Маммиллий перевел дыхание и посмотрел на Императора. Будто пытаясь освободиться от

невидимых пут, он замотал головой из стороны в сторону. Решение Императора привело в действие механизм еще одного ритуала. Женщины выстроились так, чтобы осветить проход, через который вошла строгая домоправительница, всем своим видом выражая готовность поделиться изобильными наличными ресурсами. Она поклонилась Императору, Маммилию, Евфросинии, взяла гречанку за руку и увела с собой. Занавеси сомкнулись, и галерея наконец потонула во мраке; только в открытом море, где около сетей кружились рыбачьи лодки, светились яркие огоньки. Маммилий подошел к Фаноклу и заговорил срывающимся дискантом:

— Какой у нее голос? Как она говорит?

— Она говорит редко, Цезарь. Я не помню ее голоса.

— Люди возводили храмы в честь куда менее совершенной красоты.

— Она моя сестра!

Император пошевелился в кресле:

— Раз ты так беден, Фанокл, неужели тебе в голову никогда не приходила мысль поправить ваши дела выгодным браком?

Будто пойманный в западню, Фанокл дико озирался по сторонам.

— На какой женщине ты хотел бы меня женить, Цезарь?

В немыслимой тишине, последовавшей за вопросом, рассыпалась соловьиная трель. Разбуженная ею, взошла вечерняя звезда — она мерцала на темно-синем клочке неба, зажатом между черными тенями можжевельника. Маммилий вновь заговорил срывающимся голосом:

— Фанокл, у нее есть мечта?

Император тихо засмеялся:

— Сама красивая женщина и есть мечта.

— Она сладчайший в мире источник поэтического вдохновения.

— Красиво говоришь, Маммилий, в коринфском стиле. Однако продолжай.

— Она женщина эпической простоты.

— Ну, теперь тебя хватит на двадцать четыре тома бессмертной скучищи.

— Не смейся надо мной.

— Я не смеюсь. Ты доставил мне большую радость, Фанокл, как тебе удалось сберечь такое чудо?

В сгустившейся темноте сбитый с толку Фанокл напряженно подыскивал слова.

— Что мне ответить, Цезарь? Она — сестра моя. Красота ее расцвела, как говорится, в одночасье.

Он помолчал, собираясь с мыслями. И вдруг его словно прорвало:

— Я не понимаю тебя, да и всех остальных тоже. Почему нас не оставляют в покое? Разве интимная жизнь людей имеет какое-либо значение, когда вокруг океан незыблемых взаимосвязей, которые необходимо исследовать!

В горле Фанокла что-то булькнуло, казалось, ему сейчас станет плохо. Но когда он снова заговорил, речь его потекла плавно, правда, ход мысли по-прежнему удивлял своей неожиданностью.

— Если выпустить камень из рук, он упадет. Кресло под Императором скрипнуло.

— Я надеюсь, что мы понимаем тебя.

— Всякая субстанция вечно и неизменно связана с любой другой субстанцией. Человек, который понимает эти связи... вот тот господин...

— Мой внук, досточтимый Маммилий.

— Досточтимый внук, хорошо ли ты знаешь юридические законы?

— Я римлянин.

Под движению воздуха Маммилий почувствовал, что Фанокл размахивает руками. Вглядевшись в темноту галереи, он с трудом различил смутные очертания жестикулирующей фигуры.

— Ну вот! Ты свободно ориентируешься в мире закона. А я легко себя чувствую в мире субстанций и сил, потому что признаю за вселенной разум не меньший, чем у законоведа. Подобно тому как ты, знающий закон, можешь добиться своего, имея дело со мной, который закона не знает, так и я могу не ждать милостей от вселенной, а взять их у нее.

— Слишком путано, — сказал Император. — Нелогично и очень самоуверенно. Скажи мне, Фанокл: когда ты говоришь такое, люди не называют тебя сумасшедшим?

Озадаченное лицо Фанокла поплыло во мраке вперед. Он помнил о модели корабля и боялся на нее наступить. Но перед самым его лицом вдруг тускло блеснуло лезвие меча. Фанокл неуклюже попятился.

Император повторил свои слова так, будто говорил их впервые:

— ...называют тебя сумасшедшим?

— Называют, Цезарь. Потому я и... порвал все связи с библиотекой.

— Понимаю.

— Ты думаешь, я сумасшедший?

— Продолжай, слушаем дальше.

— Вселенная — это машина.

Маммилий беспокойно зашевелился.

— Так ты колдун?

— Колдовства в природе нет.

— Твоя сестра — его живой пример и воплощение.

— Тогда она неподвластна законам природы.

— Очень может быть. А есть ли в твоей вселенной поэзия?

Измученный Фанокл повернулся к Императору:

— Вот все они так говорят, Цезарь. Поэзия, волшебство, религия...

Император усмехнулся:

— Будь осторожен, грек. Ты говоришь с великим понтификом.

Тень от пальца Фанокла метнулась к лицу Цезаря.

— Верит ли Цезарь в то, что вынужден делать великий понтифик?

— Я бы предпочел не отвечать на этот вопрос.

— Досточтимый Маммилий, ты веришь в глубине души, что непредсказуемая и неподвластная разуму поэзия существует помимо твоих свитков?

— До чего же скучна твоя жизнь!

— Скучна?

Фанокл сделал полшага к Императору, вспомнил про меч и вовремя остановился.

— Моя жизнь проходит в великом изумлении.

Император отвечал ему спокойно и терпеливо:

— В таком случае обыкновенный император не в силах что-либо сделать для тебя. Ты счастливее Диогена в бочке. Единственное, что я могу, — не загроживать тебе солнце.

— Но я разорен. Если ты мне не поможешь, меня ждет голодная смерть. А с твоей помощью я могу изменить мир.

— И мир станет лучше?

— Он сумасшедший, Цезарь.

— Это его право, Маммилий. По своему опыту, Фанокл, я знаю, что перемены почти всегда к худшему. И тем не менее ради моего... ради твоей сестры я принимаю тебя как гостя. Будь краток. Чего ты хочешь?

Фаноклу строили козни. Десятое чудо света — это, конечно, корабль, а не сестра; людей он никогда не мог понять, но с помощью его корабля Император затмит Александра Македонского. Дальше Маммилий не слушал, постукивая пальцем по колонне, он что-то забормotal себе под нос.

Пока Фанокл молот свой вздор, Император не шевельнулся и не проронил ни слова, он только позволил, чтобы от него на Фанокла не повеяло холодком. Уж на что тот был толстокож, однако и он наконец запнулся и умолк.

Заговорил Маммилий:

— «Красоты немое красноречье...»

— Я уже это слышал, — задумчиво произнес Император. — Кажется, Бион, но, может быть, и Мелеагр.

Фанокл закричал:

— Цезарь!

— Ах да! Твоя модель. Так чего ты хочешь?

— Прикажи принести свет.

На галерею все с той же ритуальной торжественностью возвратился один из живых светильников.

— Как называется твоя модель?

— У нее нет названия.

— Корабль без названия? Маммилий, надо придумать.

— О боги, какая разнища? Пусть будет «Амфитрита». — Маммилий картинно зевнул. — С твоего позволения, дедушка, я хотел бы...

Император просиял улыбкой.

— Проследи, чтобы наши гости ни в чем не испытывали неудобств.

Маммилий метнулся к выходу.

— Маммилий!

— Что прикажешь, Цезарь?

— Мне больно видеть, как ты скучаешь.

Маммилий остановился:

— Скучаю? Да... Скучаю. Доброй ночи, де-душка.

Маммилий неторопливо направился к выходу.

Однако, едва скрывшись за занавесями, он без промедления перешел на резвую рысь. Император рассмеялся и взглянул на корабль.

— Мореходность никудышная: плоскодонный, с малой кривизной бортов. Что за нос и корма? Это же зерновая баржа. А украшения зачем? Они что, имеют какой-то религиозный смысл?

— Пожалуй, нет, Цезарь.

— Значит, хочешь со мной сразиться в морской бой? Если бы не твоя очаровательная непосредственность, я бы, наверно, наказал тебя за самонадеянность.

— Я, Цезарь, принес для тебя три игрушки. Это только первая.

— Развлекать гостя — обязанность хозяина.

— Цезарь! Тебе приходилось видеть, как в горшке кипит вода?

— Случалось.

— Ты, наверное, замечал, что при этом пар улетучивается в воздух. А что, если горшок закрыть?

— Очевидно, пар не будет улетучиваться.

— Горшок разлетится на куски. Пар обладает титанической силой.

— Да что ты говоришь! — воскликнул Император. — И часто тебе случалось видеть, как горшки разлетаются на куски?

Фанокл сдержался.

— Южнее Сирии живет дикое племя. В их землях много черного масла и горючего пара. Когда они готовят пищу, то по трубам направляют пар в печи, стоящие рядом с их домами. Мясо, которым питаются туземцы, жесткое, обычным способом его варить долго. Но они на одну посудину ставят вверх дном другую. И тогда внутри горшка пар создает давление — оно проникает в мясо и проваривает его тщательно и быстро. •

— И пар не разрывает горшок?

— В том-то и смысл изобретения. Если давление становится слишком большим, оно под-

нимает верхнюю посудину и выпускает излишки пара. Это же просто, Цезарь. Пар способен поднять вес, который и слону не под силу.

Император сидел прямо, чуть подавшись вперед и обхватив руками подлокотники кресла.

— А аромат, Фанокл! Ведь он-то не улетучится! Мы чудесным образом сохраним сам дух человеческой пищи.

Он встал и начал ходить по галерее.

— Мы начнем с мяса.

— Но...

— Что касается меня, я всегда был неприхотлив. Слоновья нога и нога мамонта, ваши диковинные приправы и соусы — все это глупое ребячество. Мой внук наверняка стал бы доказывать, что надо исследовать все возможности и, так сказать, расширить границы вкусового опыта...

— Мой корабль...

— ...но это мальчишеский лепет. Отведать мяса в его изысканной простоте — значит вернуться в юность, память о которой стирает неумолимое время. Нужны костер, здоровая усталость в членах и по возможности чувство опасности. Ну и еще, конечно, крепкое красное вино...

Они смотрели друг на друга, разинув рты, правда, причины для такого изъяснения у них были разные.

— Фанокл, мы на пороге величайшего открытия. Как называют туземцы свои две посуды?

— Горшок-скороварка.

— Когда ты сможешь сделать такой для меня? А может быть, мы возьмем один горшок и поставим его вверх дном на другой...

Он постукивал пальцем одной руки по ладони другой, задумчиво глядя на сад невидящим взором.

— ...а что, если начать с рыбы? А может, с дичи? Нет, пожалуй, все же лучше с рыбы. Надо взять немного белого вина — желательно скромный сорт, чтоб не собой кичился, а самозабвенно отдавался делу. Только вот что выбрать — форель, палтус? Но вино тем не менее должно быть выдержанным — пусть терпеливо ждет своего часа.

Он повернулся к Фаноклу:

— Есть один южный сорт, его разводят на знаменитом сицилийском винограднике, как же он называется, дайте, боги, памяти...

— Цезарь!

— Ты должен отобедать со мной немедленно, мы обсудим план действий. Да, да, я обедаю очень поздно. Нахожу, что это улучшает аппетит.

— Мой корабль, Цезарь!

— «Амфитрита»?

Император, собравшись было уходить, останавливался.

— Я тебе все могу дать, Фанокл. Чего тебе надо?

— Ответь мне, Цезарь. Когда на море стихает ветер, что происходит с кораблем?

Повернувшись к Фаноклу, Император снисходительно улыбнулся:

— Он ждет, когда ветер подует вновь. Штурман начинает молиться богу ветра. Приносит жертвы и так далее.

— А если он не верит в бога ветра?

— Тогда, я думаю, ему не будет попутного ветра.

— А если ветер стихает в решающий для твоих кораблей момент морского боя?

— Рабы берутся за весла.

— А когда они выдыхаются?

— Их бьют.

— Ну а если они так обессилены, что и в бою не помогают?

— Тогда их выбрасывают за борт. Диалектика... сократический метод.

Фанокл беспомощно опустил руки. Император сочувственно улыбнулся:

— Ты устал и проголодался. Не бойся ни за себя, ни за сестру. Ты стал мне очень дорог, а сестру твою я возьму под свою опеку.

— При чем здесь сестра?

Император был явно озадачен:

— Так чего же ты хочешь?

— Я все время пытаюсь это объяснить. Хочу построить тебе боевой корабль по образцу и подобию «Амфитриты».

— Боевой корабль — дело серьезное. Как я могу считать тебя умелым корабелом, когда ты всего-навсего бывший библиотекарь?

— Ну дай мне корпус корабля — любого. Дай мне хотя бы старую баржу и денег, чтобы переделать ее вот по этому образцу.

— Конечно, мой дорогой Фанокл. Ты получишь все, чего пожелаешь. Я распоряжусь.

— А остальные мои изобретения?

— Ты имеешь в виду скороварку?

— Нет, совсем другое. Я назвал его взрывчаткой.

— Судя по названию, это то, что с ревом разрывается? Чудеса, да и только! Ну а третье изобретение?

— Пока я подержу его в секрете, пусть оно будет для тебя сюрпризом.

Император с облегчением закивал:

— Вот и хорошо. Строй свой корабль и разрыватель. Но только сначала сделай скороварку. — Сияя от удовольствия, Император вытянул руку, осторожно положил ее на плечо Фаноклу и, не прилагая усилий, повернул его к выходу.

Обрадованный первыми признаками дружелюбия, Фанокл пошел за ним, почтительно сгибаясь и стараясь ступать в ногу. Занавеси широко распахнулись, пропустив на галерею поток света, который принял их и поглотил. Свет заливал секретаря, солдата, пустое кресло; его яркие блики играли на бронзовом котле и трубе «Амфитриты».

II. Талос

С галереи Маммилий спустился в сад. Сейчас он себе определенно нравился. Широкополая соломенная шляпа, вполне заменявшая зонтик от солнца, выглядела не по-римски —

ровно настолько, чтобы подчеркнуть независимость хозяина, но исключить любые подозрения в дерзком неповиновении существующим порядкам. Светлый плащ из тончайшего египетского полотна, скрепленный на плечах изящными пряжками, добавлял его облику мужественного достоинства без тени грубости или надменности. При быстрой ходьбе — а какое-то время именно так он передвигался — плащ развевался за спиной, и Маммилий испытывал ощущение стремительного полета. Туника была вызывающе коротка и обужена, но мода есть мода, тут ничего не поделаешь. А что, если Евфросиния сидит сейчас здесь, среди замшелых наяд, и я встречу ее, думал он, неужели она не откроет лицо и не заговорит со мной? Спускаясь по нескончаемым ступеням, он озирался, высматривая ее повсюду, но в опаленном зноем саду не было ни души. Квадратные лужайки вокруг казались бархатными — собственно, таковыми им и надлежало быть по литературным канонам, — а в красиво подстриженных тисовых деревьях было меньше жизни, чем в стоявших рядом скульптурах. Он заглядывал в беседки и цветники, обходил группы каменных гамадриад, фавнов и бронзовых мальчиков, машинально

салютовал гермам, возвышавшимся в густом кустарнике.

Вся беда в том, что она ни с кем не желала говорить и редко показывалась на людях. Я уже кое-что знаю о любви, думал он, и не только по книгам. Любовь — это неотступная тревога и озабоченность, это чувство, будто все сокровища жизни собраны там, где она находится. Я, кажется, начинаю понимать: любовь родилась на вольных просторах и вскормлена молоком молодой львицы. Интересно, что она думает обо мне, как звучит ее голос, влюблена ли она?

По жилам его пробежал огонь, он затрясся как в лихорадке. Нет, пронеслось в его голове, так не годится, нельзя больше думать о ней. И в тот же миг перед его мысленным взором прошествовала целая толпа ослепительно мужественных счастливых соперников. Когда он добрался до заросшего лилиями пруда, что находился на самой нижней террасе рядом с туннелем, борьба с химерами разгоряченного воображения достигла кульминации — душевные силы покидали его.

— Лучше снова умирать от скуки.

Возможно, затея со шляпой была не столь уж блестящей идеей. Края этого персонального

клочка тени стали какими-то размытыми, и, хотя было очень жарко, сегодняшняя голубизна неба над морем не шла ни в какое сравнение со вчерашней. У горизонта образовалось зыбкое море, которое постепенно наплывало с моря на сушу. Он заговорил с издававшим виды сатиром:

— Будет гроза.

Сатир продолжал ухмыляться во весь свой зубастый рот. Он все понимал. Евфросиния. Маммилий отшатнулся и свернул налево, где в скалистом утесе был пробит туннель к порту, расположенному в соседней бухте. Часовой у входа вытянулся по стойке «смирно». Черная дыра туннеля совсем не привлекала Маммилия, а разговоры с солдатами всегда рождали в нем приятное чувство собственного превосходства — он останавливался.

— Доброе утро. Как идет служба?

— Нормально, мой господин.

— Много ли вас здесь?

— Двадцать пять, мой господин. Пять старших чинов и двадцать рядовых, мой господин.

— Где вы расквартированы?

Солдат мотнул головой:

— По ту сторону туннеля, мой господин. На триreme у причала.

— Значит, чтобы попасть на новый корабль, я должен пройти через трирему?

— Так точно, мой господин.

— Как это утомительно. Скажи, ведь в императорском саду приятнее, чем в гавани?

Солдат задумался.

— Спокойнее, мой господин. Тем, кто любит тишину, нравится.

Маммилий повернулся и вошел в темный туннель и толчею зеленых призраков, похожих на зубастого сатира. Сколько мог, он задерживал дыхание — охрана пользовалась туннелем не только как проходом в сад. Зеленые зубастые сатиры постепенно бледнели, и наконец ему открылся ад.

Любому, кроме внука Императора в короткой и обуженной тунике, этот ад кромешный мог показаться местом интересным и даже привлекательным. Порт располагался в маленькой чашеобразной бухте. Вокруг по склонам лепились склады и домишки, выкрашенные в белый, желтый и красный цвета. Внутреннюю поверхность чаши опоясывало полукружье причальной стенки, возле нее в несколько рядов теснились всевозможные суда и суденышки. Вход в чашу с моря закрывали два мола, концы которых почти

сходились. Туннель заканчивался у основания ближайшего из них. Дома, причалы, склады, корабли — все кишело людьми. Матросы — рабы и свободные — смолили и красили корабельные борта. Мальчишки лазили по реям, множество людей копошились в лодках и на баржах, голые бродяги, разгребая плавающий мусор, подтаскивали к берегу упавшие в воду бревна. В горячем воздухе гавани колыхались дома и склады, раскачивались крутосклонные холмы, и будь на небе облака, на их фоне можно было бы увидеть, как колеблется сама небесная твердь. Дым от жаровен медников и от разогретых труб, в которых гнули доски, от чанов харчевен и камбузов плыл в воздухе, отбрасывая на землю сотни бронзовых теней. Солнце безжалостно жгло весь этот муравейник и в центре гавани отражалось от воды слепящим бесформенным пятном.

Маммилий натянул поглубже соломенную шляпу и прикрыл нос полой плаща. Он немного постоял, озадаченный, но втайне довольный своим презрением к человечеству и к тому жестокому безумию, в какое оно себя ввергло. В нем даже проснулась потребность внести свою лепту в мифологию ада. Ад не только зловон-

ное пекло, но к тому же еще и грохочущее. Шум нарастал, жара усиливалась, все вокруг ходило ходуном.

Маммилий перевел взгляд на мол, куда лежал его путь. Мол тянулся от берега до середины гавани и со стороны, обращенной к морю, имел стенку, высота которой достигала плеча человека. Три корабля стояли у причала. Слева, всего в нескольких шагах от Маммилия, покачивалась на волнах императорская галера. В воде она сидела глубоко, гребцы спали на лавках прямо под палящим солнцем, мальчишка-раб чистил подушки трона под громадным пурпурным балдахином. За галерой вырисовывался изящный силуэт триремы, весла которой были вынуты из уключин и убраны внутрь. Рабы старательно драили палубу, но отмыть ее от грязи не могли — у борта триремы была пришвартована уродливая «Амфитрита», и по палубе взад и вперед безостановочно сновали люди с корабля Фанокла.

Маммилий шел по молу как можно медленнее — он всячески старался оттянуть момент, когда ему придется окунуться в неистовый жар, исходящий от трюма «Амфитриты». Задержался у второго изобретения Фанокла, которое ви-

дел впервые. У стенки мола стояла метательная машина, нацеленная в сторону моря. Вопреки всем канонам военного искусства Фанокл уже отвел рычаг и, следовательно, взвел механизм. Даже кувалда, которой выбивают чеку, лежала наготове. В чашке рычага виднелся продолговатый предмет, к которому был прикреплен сверкающий на солнце бочонок; на бочонке красовалась бронзовая бабочка с вытянутым железным жалом. Подходящее насекомое для ада. Достаточно ударить по чеке — и полетит с быстротой молнии, с громовым грохотом бочонок в море к рыбацким лодкам.

При виде катапульты Маммилия передернуло, но, вспомнив поведение Фанокла, он невольно рассмеялся. После долгих объяснений отчаявшийся грек развел руками и назидательно, будто говорил с ребенком, а не с Отцом Отечества, заключил: «Я посадил молнию под замок и выпущу ее, когда захочу». Часовой задремал у катапульты и, увидев Маммилия, сообразил, что пойман с поличным; он попытался развязной болтовней отвлечь внимание от своего промаха и повел себя так, словно они с Маммилием — это одно, а воинская дисциплина — совсем другое.

— Глянь на это страшило, мой господин, какова милашка, а?

Маммилий молча кивнул. Часовой посмотрел вверх на странную мглу, переползавшую через стенку мола.

— Будет гроза, мой господин.

Маммилий сделал знак от злых духов и быстро пошел прочь. Часового на триreme не было — на трапе его никто не встретил. Поднявшись на борт, он различил в немолчном шуме гавани партию бассо остинато — это, как голодные звери, почуявшие на арене пищу, на кораблях рычали рабы. Безмолвствовали только те, что вяло и угрюмо драили палубу триremы. Он прошел мимо них, остановился у борта и посмотрел вниз на «Амфитриту».

Метательная машина рядом с ней выглядела игрушкой. С каждого борта плоскодонной посудыны выступало по огромному — мир не видывал таких — колесу с дюжиной лопастей. Между ними по палубе змеился громадный железный стержень, совершенно изуродованный Фаноклом. Четыре кулака сжимали стержень — два толкали вперед, два тянули назад. Кулаки соединялись с железными руками, предплечья которых скользили в бронзовых рукавах. Мам-

милый знал, как Фанокл называл эти рукава — поршни, и, поскольку не было другой возможности изготовить их с той немислимой точностью, какой требовал Фанокл, их, как перчатки, сняли с гипсовых колонн, предназначенных для храма Граций.

Грации напомнили ему о Евфросинии, и он повернулся к корме. Между поршнями находилось самое страшное — Талос, медный безголовый великан. Сверкающая сфера ушла по пояс в палубу, четыре вытянутые руки сжимали уродливый кривошип. Между Талосом и кривошипом посреди железных прутьев торчала высокая бронзовая труба — издевка над священным Фаллосом.

Людей вокруг было не много. Раб делал что-то технически сложное с одной из рулевых лопастей, кто-то бросал уголь в трюм. Толстый слой угольной крошки покрывал палубу, борта и колеса. Чистым оставался только ушедший по пояс в палубу Талос, он дышал горячим паром и лоснился от масла. Когда-то «Амфитрита» была зерновой баржей (рабы таскали ее вверх по реке к Риму) — неказистой посудиною, уютной и безобидной, от которой всегда пахло старым деревом и мякиной. Но теперь в нее вселилась

нечистая сила. Талос восседал на корабле, на-
секомое выставило свое жало в сторону откры-
того моря, ад грохотал.

Из трюма высунулась голова Фанокла. Сквозь
пот, заливавший глаза, он посмотрел, сощури-
вшись, на Маммилия, потряс бородой и вытер
лицо ветошью.

— Все почти готово.

— Ты знаешь, что скоро прибудет Император?

Фанокл кивнул. Маммиллий брезгливо по-
косился на покрытую угольной пылью палубу:

— Ты что, совсем не готовился к его приему?

— Он просил не устраивать церемоний.

— Но «Амфитрита» омерзительно грязна!

Фанокл внимательно оглядел палубу.

— Уголь безумно дорог.

Маммиллий осторожно ступил на борт «Ам-
фитриты». От котла на него дохнуло жаром, по
лицу заструился пот. Фанокл оглянулся на Та-
лос, затем протянул Маммилию кусок ветоши.

— Пожалуй, теплее, чем обычно, — согла-
сился он.

Маммиллий жестом отказался от ветоши и
вытер залитое потом лицо уголком своего эле-
гантного плаща. Теперь он оказался лицом к
лицу с Талосом и смог лучше разглядеть его

устройство. Прямо над палубой на тыльной части сферы виднелся опутанный пружинами выступ. Фанокл, следивший за взглядом Маммилия, протянул руку и щелкнул по выступу пальцем, отчего тот покрылся матовым налетом и выпустил клуб пара. Он угрюмо уставился на механизм:

— Видишь? Это предохранительный клапан. Я дал подробные инструкции...

Но мастер добавил к устройству крылатого Борея, который стоял, едва касаясь клапана пальцем ноги и надувая щеки.

Маммилий вымученно улыбнулся:

— Симпатично.

Пружины напряглись, со свистом вырвалась струя пара. Маммилий проворно отскочил. Фанокл потер руки:

— Ну вот мы и готовы.

Он приблизился к Маммилию, обдав его запахом пота.

— Я уже выводил «Амфитриту» в центр гавани, а однажды и в залив. Она работает легко и уверенно — как звезды в небе.

Отводя взгляд от Фанокла, Маммилий увидел в сияющем боку Талоса свое искаженное лицо. От заостренного носа и рта оно растека-

лось по сфере во все стороны. Как бы он ни вертел головой, это лицо с холодными и безжалостными рыбьими глазами продолжало неотступно следить за ним. Жар от котла и дымящей трубы был невыносим.

— Я хочу выбраться из этого...

Под изогнутыми железными стержнями он пробрался на нос корабля. Воздух здесь был прохладнее, и, сняв шляпу, он стал ею обмахиваться как веером. Фанокл тоже прошел вперед, и они остановились, опершись спинами о фальшборт. На баке триремы, всего в нескольких локтях над ними, работали невольники.

— От этого корабля можно ожидать только зла и бед.

Фанокл вытер руки и бросил грязную ветошь за борт. Оба повернулись и посмотрели, как она раскачивается на волнах. Фанокл поднял большой палец, показывая за спину.

— Зла и бед этот корабль не принесет. Только пользу. Ты что, хотел бы работать, как они?

Маммилий поднял голову и взглянул на рабов. Они столпились вокруг металлического краба.

— Я тебя не понимаю.

— Вот сейчас они установят нок-тали точно по центру и потянут краба вверх — все десять тонн разом. Пар сделал бы это за них без суеты и напряжения.

— Краба наверх мне тащить не надо. Я не раб.

Став на цыпочки, чтобы лучше рассмотреть краба, они замолчали. Это была устрашающе самодовольная глыба свинца и железа; если бы ее когтистые лапы не упирались в каменные валуны, палуба наверняка бы не выдержала. Назначение громадины было сугубо утилитарным, по всей Римской империи не сыскать было более практичного монстра — он служил только затем, чтобы падать с высоты на вражеские корабли, пробивать их днища и пускать не мешкая ко дну; но та же сила, что превратила бронзовую затычку бочонка в бабочку и водрузила Борея на предохранительный клапан, оставила свои следы и на крабе. Чудовищу нарисовали глаза и наметили конечности. Это придало образине такую значительность, что рабы ухаживали за ней подобострастно, они мыли ей лапы так, будто имели дело с чем-то более серьезным, чем обыкновенная груда металла. Часть рабов разворачивали десятисаженную рею.

Маммилий отвернулся и посмотрел на палубу «Амфитриты»:

— Жизнь, Фанокл, — удручающая грязь.

— Я ее вычищу.

— Пока ты только пачкаешь.

— Ничего, мы еще проживем без рабов и без армий.

— Чем тебе не угодили рабы и армии? Может, еще скажешь: «Будем жить без пищи, воды и женщин»?

Они снова замолчали, вслушиваясь в портовый грохот и крики на триreme:

— Трави помалу!

— Сегодня вечером Император собирается испробовать скороварку. Ту, что ты сделал для него.

— Он забудет обо всем, когда опробует «Амфитриту». Досточтимый Маммилий... он уже простил нас за ту неудачную скороварку?

— Простил, наверное.

— Заводи канат. Взяли. Раз, два. Раз, два.

— В конце концов, без того эксперимента я бы так никогда и не додумался до предохранительного клапана.

— Он сказал, что не стоило начинать с монтажа. Ругал меня.

— А сейчас?

Маммилий покачал головой:

— Но троих поваров и северное крыло виллы ему тем не менее жаль.

Фанокл, с которого все еще градом катил пот, кивнул. Потом, вспомнив что-то, нахмурился:

— Как ты думаешь, он это имел в виду, когда сказал: «И по возможности чувство опасности»?

Раб, возившийся в трюме у топки котла, вышел на палубу; Маммилий с Фаноклом лениво наблюдали за ним. Он бросил за борт ведро на длинной веревке, вытащил его и вылил воду на свое обнаженное тело. Черные струйки воды, смешанной с угольной пылью, зазмеились по доскам.

— А ну-ка вымой здесь палубу! — крикнул Фанокл.

Раб в раздумье поглаживал свои грязные волосы. Потом зачерпнул еще одно ведро и, широко размахнувшись, с силой выплеснул воду — ноги Маммилия и Фанокла обдало жидкой грязью. С негодующими криками они бросились вперед, и в тот же миг раздался треск рвущегося под непомерной тяжестью каната, «Амфитрита» клюнула носом, накренилась и издала

громкий клацающий звук, — казалось, она с хрустом вгрызлась зубами в собственные деревянные шпангоуты. Послышался гул тупого удара о дно бухты, и с неба на них обрушились потоки воды, нечистот, грязи, масел и дегтя. Фанокл рухнул ничком, Маммилий согнулся под напором водяного смерча, от потрясения он был не в силах даже выругаться. Ливень прекратился, но палубы залило так, что они стояли по пояс в воде. Талос в ярости изрыгал огромные клубы пара. Затем вода схлынула, палубы заблестели, над гаванью повис неистовый рев. Наконец Маммилий распрямился и выругался — шляпа его теперь видом и запахом напоминала коровью лепешку, мокрая и грязная одежда противно липла к телу. Облегчив душу, он повернулся и взглянул на то место, где они только что стояли с Фаноклом. Краб снес шесть футов фальшборта и сорвал обшивку палубы, оголив расплющенные концы бимсов. С реи триремы прямо в воду свисал толстый канат, желтая жижа вокруг него все еще булькала и пузырилась. На триреме шла драка, появившиеся солдаты били дерущихся рукоятями мечей. Из клубка тел вырвался человек. Он соскочил на причал, схватил большой камень и, прижав его к животу, через стенку мола ныр-

нул в море. Драка прекратилась. Двое телохранителей Императора в немом отчаянии бились головами о мачту.

Заляпанное грязью лицо Маммилия постепенно бледнело.

— Это первое покушение на мою жизнь.

Фанокл тупо уставился на развороченный борт. Маммилия затрясло.

— Я никому не делал зла.

Капитан триремы проворно спрыгнул на палубу «Амфитриты».

— Не знаю, что и сказать, мой господин.

Неистовый рев не утихал. Казалось, чьи-то глаза, тысячи глаз, следили за ними над изменчивым ковром водяных бликов. Маммилий в ужасе озирался по сторонам, вглядывался в молочно-белую пустоту воздуха. Нервы его напряглись до предела. Фанокл жалобно заскулил:

— Они ее повредили.

— А пошел ты со своим вонючим кораблем...

— Мой господин, раб, перерезавший канат, утопился. Мы ищем главаря бунтовщиков.

Маммилий завопил: .

— Oloito!*

* Oloito — искаженное древнегреческое проклятие. — *Примеч. пер.*

Изысканное слово сыграло роль предохранительного клапана. Маммиллий унял дрожь, но расплакался. Фанокл поднес к лицу трясущиеся руки и смотрел на них так пристально и пылливо, будто в них была скрыта какая-то ценная информация.

— Аварии случаются. Вот только позавчера толстенная доска сорвалась и пролетела всего лишь в нескольких вершках от моей головы. Но мы живы.

Капитан вытянулся в знак приветствия.

— С твоего позволения, мой господин.

И он вспрыгнул на борт триремы. Маммиллий повернул к Фаноклу заплаканное лицо:

— Но откуда у меня враги? Лучше бы меня убило.

Неожиданно ему показалось, что все в этом мире опасно и неустойчиво... все, кроме таинственной красоты Евфросинии.

— Фанокл, отдай мне твою сестру.

Фанокл оторвал взгляд от своих рук.

— Мы, господин, свободные люди.

— Я имею в виду — в жены.

Фанокл хрипло закричал:

— Да сколько можно! Доска, краб... а теперь еще и это!

Дымчато-белый ревуший ад сомкнулся над
Маммилием. Где-то в вышине зарокотал гром.

— Я не могу без нее жить.

Фанокл пробормотал, не сводя глаз с Талоса:

— Ты даже лица ее не видел. И потом, ты
ведь внук Императора.

— Он сделает все, что я захочу.

Фанокл свирепо покосился на собеседника:

— Сколько тебе лет, мой господин? Восем-
надцать? Семнадцать?

— Я уже взрослый мужчина.

Фанокл соорудил гримасу:

— В силу установленных людьми законов.

Маммиллий стиснул зубы.

— Извини меня за слезы. Это от потрясе-
ния. — Он громко икнул. — Ты меня простил?

Фанокл смерил его взглядом:

— А больше ничего не хочешь?

— Хочу. Евфросинию.

— Это не в моей власти, мой господин.

— Ни слова больше. Мы поговорим с Им-
ператором. Он тебя убедит.

У входа в туннель грянул салют.

Император шагал не по возрасту быстро.
Впереди бежал глашатай:

— Дорогу Императору!

Свита состояла из телохранителя и нескольких женщин — лица дам прятались под вуалями. Маммилый в панике заметался по палубе, но женщины отошли в стороны и заняли места вдоль стенки мола. Фанокл рукой заслонил глаза от солнца.

— Он привел ее посмотреть демонстрацию.

Капитан триремы семенил рядом с Императором, что-то объясняя ему на ходу. Император задумчиво кивал своей посеребренной головой. Он взошел по трапу на трирему, пересек палубу и посмотрел вниз на диковинный корабль. Даже в такой обстановке сухощавая фигура в белой тоге с пурпурной каймой несла на себе печать спокойного величия. Он не стал опираться на протянутую руку и сам взошел на палубу «Амфитриты».

— Не трать слов на рассказ о крабе, Маммилый. Я все уже знаю от капитана. Поздравляю тебя со счастливым спасением. И тебя, конечно, тоже, Фанокл. Демонстрацию придется отменить.

— Цезарь!

— Понимаешь, Фанокл, сегодня вечером меня на вилле не будет. Твою скороварку мы испробуем как-нибудь в другой раз.

И снова Фанокл застыл с разинутым ртом.

— Дело в том, — спокойно продолжал Император, — что в это время мы будем в море на «Амфитрите».

— Цезарь!

— Останься, Маммилий. У меня есть для тебя новости. — Он помолчал, прислушиваясь к шуму гавани. — Не любит меня народ.

Маммилия снова затрясло.

— И меня тоже. Чуть не убили.

Мрачная улыбка мелькнула на губах Императора.

— Это не рабы, Маммилий. Я получил донесение из Иллирии.

Под грязью, покрывавшей лицо Маммилия, угадывалось выражение испуганного понимания.

— Постумий?

— Он внезапно прервал военную кампанию и сосредоточил войска в морском порту. Сейчас он обшаривает побережье и забирает все — от триремы до рыбачьей лодки.

Маммилий быстро и неловко шагнул, едва не попав в ручищи Талоса.

— Решил отдохнуть от героических дел.

Император подошел к внуку почти вплотную и осторожно прикоснулся пальцем к его мокрой тунике.

— Нет, Маммилий. Он просто узнал, что у внука Императора проснулся интерес к оружию и боевым кораблям. Будучи реалистом, он боится твоего влияния. Не исключено, что злонамеренные люди подслушали злополучную беседу на галерее. Нельзя терять ни минуты. — Он повернулся к Фаноклу: — Нам нужен и твой совет. Как скоро мы сможем дойти на «Амфитрите» до Иллирии?

— В два раза быстрее, чем на твоих триремах, Цезарь.

— Маммилий, мы отправляемся вместе. Я — чтобы убедить Постумия, что я все еще Император, а ты — чтобы разубедить его в том, что желаешь им стать.

— Но это же опасно!

— Тогда оставайся и жди, когда тебе перережут горло. Не думаю, что Постумий позволит тебе покончить с собой.

Фанокл стоял, прижав кулаки ко лбу. Император кивнул в сторону мола, и через палубу триремы цепочкой потянулись рабы с поклажей. С кормы торопливо прибежал маленький сириец. Глотая слова, он заговорил с Маммилием:

— Мой господин, это невозможно. Императору здесь негде спать. И посмотри на небо.

Небо было затянуто облачной дымкой — ни единого синего островка. Солнце расплылось в большое светлое пятно, готовое вот-вот скрыться за облаками.

— И как я смогу держать точный курс, когда неба не видно и нет ветра?

— Это приказ. Милый дедушка, давай сойдем на берег хотя бы на минутку.

— Зачем?

— Корабль такой грязный...

— Да и ты, Маммилий, не чище. От тебя отвратительно пахнет.

Сириец бочком приблизился к Императору.

— Если это приказ, Цезарь, я сделаю все возможное. Но позволь нам сначала вывести корабль из гавани. Ты сможешь перейти на него со своей галеры.

— Да будет так.

По триреме они прошли вместе. Потом Маммилий, отвернувшись от женщин, бегом скрылся в туннеле. Император дошел до галеры, стоявшей на мертвом якоре у кормы триремы, и удобно устроился под балдахином. Только теперь он увидел, насколько нелеп и уродлив новый корабль. Он тихо покачал головой:

— Не по душе мне все эти новшества.

Толпу рабов с палубы «Амфитриты» постепенно засасывало в трюм, несколько человек торопливо заканчивали последние приготовления. Команда триремы толкала корабль Фанокла вальками весел, и наконец он сдвинулся вбок. Швартовы с плеском упали в воду, матросы втащили их на борт. Сидящий в пурпурной тени Император смотрел, как рулевой, орудуя веслами, старается прижать корму и освободить носовые полуклюзы. Из бронзового брюха Талоса вырывались струи пара. Потом он увидел, что Фанокл высунул голову из трюма и взмахом руки остановил рулевого. Он что-то прокричал вниз, где находилось чрево машины; струя пара увеличилась — свист стал таким пронзительным, словно воздух скребили напильником, — а потом исчезла совсем. В ответ с кораблей и из домов донесся ворчливый рев — и вот «Амфитрита» лежит в центре гавани огромной беззащитной ящерицей.

Император обмахивался рукой.

— Я всегда знал, что в поведении толпы нет ничего загадочного.

Внутри корабля что-то хрюкнуло, потом раздался металлический лязг. Все четыре руки Талоса пришли в движение, две поползли вперед,

две назад. Колеса медленно повернулись, левое — в одну сторону, правое — в другую. Лопасти опускались — шлеп, пауза, шлеп! — разбрызгивая грязную воду. Выныривая, они бросали ее высоко вверх, откуда она ливнем устремлялась на палубу. На корабле не осталось ни единого сухого места, над ним вновь повисло облако пара — на сей раз пар валил от раскаленного котла и трубы. Из трюма послышался дикий вопль, на палубу выскочил Фанокл и, замерев, принялся внимательно изучать великий потоп — сквозь прищур глаз он смотрел так зачарованно, будто в жизни не видывал ничего интереснее. Вперед «Амфитрита» не продвигалась, но вертелась вокруг своей оси; вода из-под лопастей фонтанами взлетала в воздух. Фанокл крикнул что-то в люк, из клапана со свистом вырвался пар, колеса, скрипнув, остановились; с «Амфитриты» струями стекала вода, — казалось, она только что вынырнула со дна бухты. На застрявший в центре гавани корабль, свистящий предохранительным клапаном, обрушился тысячеголосый крик. В мареве над холмами блеснула молния, и почти сразу же пророкотал гром.

Император украдкой сделал знак, отгоняющий злых духов.

Молния эта, однако, была ниспослана богами явно не к месту. Ожидая, что «Амфитрита» вот-вот погибнет от гнева Провидения, Император прикрыл глаза рукой, но все же успел заметить на воде еще одно дурное предзнаменование. За стенкой мола, в открытом море, сквозь клубы пара виднелось что-то внушительное. Император — времени на раздумье не было — решил, что это вершина скалы или небольшого утеса. Но скала росла.

Император поспешно выбрался на берег, подошел к тому месту, где сидели женщины, по ступенькам поднялся на стенку мола. Скала выплыла из тумана. Это была носовая часть громадного боевого корабля, из его трюма несся мерный барабанный бой. Корабль выравнял курс, чтобы пройти точно посередине узкой полоски воды между двумя молами. Он надвигался неумолимо — паруса убраны, с обоих концов свисает по крабу, метательные машины нацелены на порт, палубы сверкают сталью и бронзой, стрела тарана рассекает воду, словно плавник акулы. Барабан перешел на новый ритм. Пятнадцатисаженные весла прижались к корпусу — слаженность операции была такой, будто ею руководил мировой разум. Ко-

рабль скользил через узкий проход, его таран уже втиснулся в гавань. Снова изменился ритм барабанного боя. Минуя молы, весла пара за парой разворачивались, опускались в воду и табанили. На шканцах корабля Император заметил золотисто-алое знамя, древко которого было увенчано грозным и мстительным орлом. Он спустился со стенки и, не отвечая на испуганные вопросы женщин, поспешил на свою галеру под защиту балдахина.

На борту «Амфитриты» тоже заметили боевой корабль. Император видел, как Фанокл и капитан спорили между собой, размахивая руками. Фанокл нырнул в люк, струя пара исчезла, лопасти колес снова пришли в движение. В тот же миг капитан заметался по палубе, блеснул металл, и якорь «Амфитриты» плюхнулся в воду. А барабаны уже выбивали следующий приказ. Как распростертые крылья, весла боевого корабля замерли в горизонтальном положении. Корабль скользил, теряя ход, словно огромная морская птица, изготавившаяся сесть на воду. Таран ударил «Амфитриту» в правое колесо и смял его. По жестким спицам весел поползли люди, они прыгали вниз, раздавали удары рукоятями мечей и тупыми концами ко-

пий. Ворчливо-шумная гавань одобрительно заревела. Фанокла и капитана подняли на веслах и швырнули на палубу боевого корабля. Весла снова заработали, таран отошел от расплющенного колеса. «Амфитрита», едва двигая колесами, закружилась вокруг собственного якоря. Боевой корабль разворачивался к молу, где стояла трирема и восседал Император.

Император задумчиво пощипывал пальцами нижнюю губу. У входа в гавань маячили новые утесы, военные корабли кружили на месте, ожидая команды войти в порт. Еще раз сверкнула молния и прогрехотал гром, но на этот раз Император не обратил на них внимания. Маммилий стоял у императорской галеры с видом человека, которого застигли врасплох. Император, скосивший глаза на Маммилия, был ошеломлен не менее его.

Маммилий облачился в военные доспехи. Его нагрудник поражал воображение аллегорическим сборищем героев и кентавров. Алый плащ ниспадал до пят. Ножны из красной кожи, в которых покоился меч, гармонировали с красной кожаной отделкой высоких башмаков, доходивших почти до колен. Бронзовый шлем, который он держал под мышкой, по замыслови-

тости рисунка и качеству материала не уступал нагруднику.

Император закрыл на мгновение глаза и прошептал:

— Жених Беллоны.

Маммилию стало немного не по себе. Он зарделся:

— Я думал... раз уж мы едем на войну...

Император изучал детали его военной формы.

— Теперь я понимаю, как пали Карфаген и Троя.

Маммилий краснел, бледнел и, покрываясь обильным потом, снова краснел.

— Ты знаешь, чьи это корабли?

— Я...

Император горестно покачал головой:

— В сложившейся обстановке женский наряд вызвал бы меньше подозрений и кривотолков.

Все это время Маммилий закрывался от женщин полой своего плаща. Когда борт боевого корабля поравнялся с триремой, он увидел, как полщется на шканцах золотисто-алое знамя. Таран корабля оказался рядом с императорской галерой. Еще раз кровь отхлынула от лица Маммилия и больше уже не возвращалась.

— Что же нам делать?

— Чтобы что-то делать, необходимо время, а у нас его нет. Впрочем, можешь надеть свой шлем.

— У меня от него голова болит.

— Дипломатия, — сказал Император. — У него солдаты — любо-дорого посмотреть! А у нас — голова на плечах. Будет очень скверно, если мы не сумеем все уладить.

— А как же я?

— По правде сказать, в Китае ты бы сейчас был в большей безопасности.

Император взял Маммилия за руку и ступил на берег. Он пошел по молу к боевому кораблю. Маммиллий поплелся следом. Толпа с палубы прибывшего корабля хлынула на трирему, оттуда на мол; дальний его конец был забит до отказа. Там стояли пленные, жалкий и униженный сириец, рабы. Там же были близоруко озиравшийся Фанокл и солдаты, слишком много солдат. Навьюченные тюками, они, казалось, собирались на гигантскую барахолку. На всех красовались желто-красные ленты. При виде пурпурной каймы на белой тоге они застыли по стойке «смирно» даже под тяжким бременем награбленной добычи. Император

остановился у трапа. Позади него у стенки мола расположилась стайка женщин в вуалях; их перепуганный вид вызывал в памяти хор троянских пленниц из трагедии Еврипида. Низко прогудела большая духовая труба, лязгнуло оружие, флаг на мачте спустили. По трапу размашистым, уверенным шагом сошел высокий темноволосый человек, он был крепко сбит, вооружен и настроен решительно.

— Добро пожаловать домой, Постумий, — с улыбкой сказал Император. — Твой приезд отменяет решение Императора навестить тебя...

III. Гнев громовержца

Постумий помедлил. Золотисто-алое перо его шлема колыхалось в полулокте над головой Императора. На широком оливково-смуглом лице появилось недоверчивое выражение.

— Где ты спрятал свои войска?

Император удивленно поднял брови:

— Несколько часовых стоят, как обычно, в саду и, видимо, еще с полдюжины — у туннеля. А ты, Постумий, как я вижу, путешествуешь с внушительной свитой.

Постумий повернулся и отдал своим офицерам несколько коротких распоряжений. Отряд тяжело навьюченных легионеров пробежал по молу и выстроился так, чтобы отрезать Императору единственный путь к отступлению. Женщины взвыли, потом перешли на монотонные причитания. Император сделал вид, что ничего не заметил, и повел Постумия к своему кораблю. «Амфитрита» продолжала медленно кружиться.

Постумий остановился:

— Мне давно следовало навеститься домой.

В небе снова загромыхало. Император оглянулся на плотный строй солдат, перегородивших мол у туннеля.

— Не меньше сотни, я думаю. Почетный караул в честь Императора?

Постумий фыркнул:

— Можешь считать, что так. Скоро в гавань войдут новые корабли. Их будет достаточно, чтобы обеспечить наше полное единодушие по всем вопросам текущей политики. Но какой подарок судьбы, что я встретил вас обоих на молу!

Маммилий откашлялся и заговорил высоким срывающимся голосом:

— Постумий, ты ошибся.

— Ба... Маммилий в военных доспехах.

— Это для красоты. Императором я быть не хочу.

— Вот оно что!

Постумий шагнул к Маммилию, тот испуганно попятился, наступив на свой плащ. Постумий ткнул ему пальцем в лицо:

— Ты, может быть, и не хочешь. Но он, чтобы ублажить тебя, Адриатическое море ложкой вычерпает.

Лицо Императора покрылось нежным румянцем.

— Ты, Постумий, никогда не искал моего расположения, а потому никогда не страдал без него. Если я выказал недомыслие, наивно полагая, что могу наслаждаться обществом Маммилия с риском разве что обычного скандала, то я же проявил и мудрость, считая тебя при всех наших расхождениях своим наиболее достойным преемником.

— У меня на этот счет другие сведения.

— Может быть, мы не будем обсуждать на людях наши разногласия?

Постумий пропустил последние слова мимо ушей и выудил из-под нагрудника сложенный лист бумаги.

— «Кому: Постумию, законному наследнику и прочая.

От кого: от СIII.

На молу рядом с туннелем идут работы по строительству и переоборудованию боевых кораблей и *другой* военной техники. Император и досточтимый Маммилий проявляют большую личную заинтересованность в модернизации корабля под названием «Амфитрита» (бывшая зерновая баржа, в Морском регистре не значится) и метательной машины (регистрационный № VII), которая установлена на молу и наведена на боевые цели в районе открытого моря. Они же проводят крупномасштабные эксперименты по разработке новых методов отравления пищевых продуктов. Досточтимый Маммилий находится в состоянии крайнего возбуждения и нервической приподнятости...»

— Постумий, я клянусь...

Постумий повысил голос:

— «Под видом сочинения стихов он ведет секретную переписку с Императором и некоторыми другими лицами...»

Лицо Маммилия пылало.

— Оставь в покое мои стихи!

— «Код пока не дешифрован. Передан в XLVII отдел; там обнаружили, что его составляют цитаты из Мосха, Эринны, Мимнерма и других, еще не установленных источников. Дешифровка продолжается».

Слезы бессильного гнева катились по щекам Маммилия.

— Ты — грязная свинья!

— В этой жестокости, Постумий, не было никакой необходимости.

Постумий свернул бумагу и сунул ее за нагрудник.

— Поиграли, Цезарь, и хватит. Пора вводить регентство.

— Он не хочет быть Императором.

Постумий глумливо ухмыльнулся в сторону Маммилия:

— Он им и не будет.

Доспехи Маммилия слабо позвякивали. Император положил руку на плечо Постумия:

— Раз уж корабль и метательная машина так тебя беспокоят, я все объясню. Будь справедлив. — Он повернулся к офицерам и сказал, повысив голос: — Грека ко мне.

Постумий кивнул в знак согласия. Все замерли в ожидании. Скоро Фанокл стоял перед ними, растирая затекшие руки.

— Все дело в этом человеке.

— Досточтимый Постумий... я изменяю мир.

— Это у него такая манера говорить, Постумий.

— Рабов заменят уголь и железо. Мы соединим самые отдаленные точки земли.

Постумий засмеялся, но от смеха никому веселее не стало.

— И люди будут летать.

Постумий повернулся к офицерам и кивком подозвал одного из них.

— Полковник, почему корабли не входят в гавань?

— Плохая видимость, генерал.

— К черту плохую видимость. Дайте сигнал или пошлите нарочного.

Он снова повернулся к Фаноклу:

— Этот фантастический корабль...

Фанокл всплеснул руками:

— Самое быстроходное судно в мире. Цивилизация — это вопрос коммуникаций. — Он нахмурился, подыскивая слова попроще. — Досточтимый Постумий, ты — солдат. В чем твоя самая большая трудность?

— У меня их нет.

— Ну а если бы были?

— Не дать себя обскакать.

— Ты видишь? Даже война — вопрос коммуникаций. Вспомни хитрости, на которые пускался Ксеркс, пытаюсь завоевать Грецию. На «Амфитрите» он переплыл бы Эгейское море за день, даже против ветра.

Дрожащий от страха Маммилий услужливо вставил:

— Вспомни Гая Юлия Цезаря, Александра Македонского, Рамсеса...

Фанокл склонил голову набок и развел руками, показывая, что нет ничего проще.

— Понимаешь, мой господин, — коммуникации.

Император задумчиво покачал головой:

— Чем они хуже, тем лучше.

Снова проворчал гром. Постумий решительно направился к метательной машине, женщины в испуге съежились. Шум в гавани нарастал.

— А это?

— Пришлось заточить молнию в бочонок. Когда жало о что-нибудь ударится, молния вылетит на свободу. И тогда в земле образуется дымящаяся дыра.

Император сделал знак от злых духов.

— А зачем нужна бабочка?

— Антидетонатор снаряда. Без него снаряд взорвется еще в катапульте. Как только бочонок пролетает какое-то расстояние, бабочка отлетает.

— Ну а если он упадет на городскую стену, то и вместо нее будет дымящаяся дыра?

— Да, Цезарь.

— А если на армию?

— Можно и на армию, надо только найти подходящий бочонок.

Постумий внимательно разглядывал Фанокла.

— Ты только одну такую штуковину сделал?

— Да, мой господин.

— Даже не знаю, сразу удавить тебя или употребить на что-нибудь другое.

— Меня удавить?

Неожиданно гавань взревела так, что далее не обращать на это внимания стало невозможно. Все одновременно повернулись.

«Амфитрита» — поняли они сразу. Она все вращалась и вращалась вокруг своего якоря в центре гавани, и такая вызывающая эксцентricность не могла, разумеется, не переполнить чашу терпения всех, у кого в жилах текла кровь.

Голые люди ныряли с кораблей и причалов, и вот уже над водой замелькала сотня рук.

Фанокл закричал:

— Да что же это?..

Постумий быстро отдавал распоряжения полковнику:

— Все войска высадить здесь, на этом молу. Проследи, чтобы ни Император, ни его свита не пожелали удалиться отсюда. Желания Императора для нас священны. Ты понял?

— Да, генерал.

Постумий побежал к галере, но Император окликнул его:

— Чтобы не терять времени даром, я, пожалуй, устрою смотр собравшимся на молу великолепным парням.

Полковник взглянул на Постумия — тот добродушно рассмеялся:

— Делай, как велит тебе Отец Отечества.

Дуга пловцов стянулась к «Амфитрите», под барабанную дробь в гавань входил второй корабль. Фанокл в отчаянии заламывал руки.

— Останови их, Цезарь!

Люди облепили «Амфитриту» — они рвали лопасти и били бронзового монстра попадавшимися под руку тяжелыми предметами. Ча-

совой, которого Постумий оставил на борту, плюхнулся в воду, помелькав в воздухе руками и ногами. Из трюма корабля потянулась струйка дыма. Голые фигуры стали прыгать за борт — в центре палубы уже вырывались наружу тонкие, едва различимые, почти еще призрачные язычки пламени. На втором боевом корабле заметили опасность и начали энергично табанить. Весла разбивались о мол, но обратный путь был закрыт. Третий корабль, возникший из знойного марева, врезался своим тараном во второй. Еще несколько дюжин весел разлетелись в щепы, корабли потеряли управление, их медленно понесло на «Амфитриту». Постумий, изрыгая проклятия, прыгнул в императорскую галеру.

— Отчаливай! Весла на воду!

— Отряд к смотру готов, Цезарь.

— Полковник, а как же солдаты, которые выстроились между мной и туннелем? Пусть и они становятся в строй.

— Цезарь, я получил приказ...

— Вот уж не думал, полковник, что ты и твои brave ребята не справятся со стариком и полудюжиной женщин, надумай они совершить побег!

Полковник сглотнул слюну.

— Возможно, Отец Отечества в последний раз инспектирует свои войска.

— И ты ослушаешься, полковник? Я ведь тоже солдат.

Кадык полковника заходил вверх-вниз. Его распирало от волнения и понимания важности момента. Он с восторженным подобострастием отдал честь Императору.

— На пара-а-ад — бего-о-ом марш!

— И оркестр, — добавил Император. — Я, кажется, где-то видел оркестр. Как насчет оркестра, полковник?

Четвертый боевой корабль плавно входил в гавань. Бронзовый котел «Амфитриты» был уже едва различим в клубах дыма и языках пламени. Лопасты колес быстрее зашлепали по воде. Якорный канат натянулся. Постумий гаркнул:

— Табань, чер-р-рт тебя подери!

Флейты, букцины и тубы. Трубка литууса опоясывала торс, гигантский колокольчик ра-струба повис над плечом. Барабаны, литавры и медь. Все в алых и золотых тонах.

Войска в парадном строю заполнили мол от триремы до дальнего конца. Оркестр строился

на маленьком пяточке между солдатами и катапультой. Женщины заламывали руки. «Амфитрита» кружилась, выбрасывая вверх дым и пламя. Четвертый корабль пытался обогнуть ее и две другие триремы. Пятый изготовился войти в гавань.

— Оркестр!

«Амфитрита» завертелась быстрее. Стравив пару саженей якорного каната, она описала более широкий круг, задела два сцепившихся корабля — такелаж вспыхнул. Постумий в бешеной злобе скакал по галере.

— Отпускай крабы!

«Амфитрита» выпустила еще сажень-другую каната. Теперь на ее пути оказалась императорская галера: удар — и от ее царственного величия не осталось и следа. Круг за кругом выписывала она по воде под неумолкающие вопли Постумия, не в силах ускользнуть от огненного дыхания «Амфитриты».

Оркестр заиграл.

— Развернутым строем, полковник?

Полковник колебался.

— Здесь нет места, Цезарь. Солдаты попадают в воду.

— В таком случае, — сказал Император, — снаряжение и добычу им придется взвалить на себя, иначе я не смогу пройти между рядами.

Оркестр маршировал между отрядом и катапультой: десять шагов вперед, десять назад. Великолепные музыканты! Великолепный строй великолепных солдат. Великолепные моряки на невыразимо великолепных боевых кораблях. Женщины чувствовали, что ради таких великолепных мужчин стоило оказаться во власти генерала Постумия и поставить жизнь на карту. Вздыхали груди, блестели взоры, от восторга замирала душа. Маммилий надел шлем.

Император остановился у левофлангового первой шеренги:

— Так сколько же лет ты служишь в армии, дружище?

Якорный канат «Амфитриты» прогорел и с треском лопнул. Равномерное круговое движение сменилось беспорядочным рысканием. Она задела за швартовы торгового судна, которое стояло у склада, — огонь мгновенно перекинулся на берег.

— Крабы... крабы отпускайте!

И тотчас же на кораблях каждым овладела одна мысль — немедленно выбраться из гавани. Горящий боевой корабль, заваливаясь кормой, медленно проплыл мимо мола — строй солдат обдало жаром. Все пространство гавани вдалеке от ужасного дыхания пылающей «Амфитриты» было забито большими и малыми судами, давившими друг друга в попытках выбраться на спасительную открытую воду, подернутую легкой дымкой. А надо всем этим месивом неслись раскаты грома, сверкали молнии и играл оркестр.

— Где это так изуродовали твое лицо? Копьем задели? А может, бутылкой?

Легионеры стояли навтыжку по стойке «смирно» под грузом военных доспехов (64 фунта), походного снаряжения, завоеванной добычи и ужасающей жары. Полковник так внимательно следил, как на его носу набухает капля пота, что оба его зрачка намертво застыли у переносицы. В первой шеренге Император не пропустил ни одного солдата.

Затравленной стаей кружились боевые корабли в центре гавани — «Амфитрита» висела у

них на хвосте. Один из капитанов, заметив галеру, застыл на шканцах в приветствии Постумию. В этот момент то ли канат прогорел, то ли кто-то переусердствовал — краб отпустили. Черная звездообразная дыра зияла на том месте, где только что стоял капитан. Он пошел на дно вместе с кораблем.

— Это же надо, какой детина вымахал. Любишь армию? Ты посмотри, какая вмятина. Наверное, угодило камнем из пращи. Только пращей можно сделать такую ямину. А ты как думаешь, полковник? Не отдавай щит, даже если интендант попытается всучить тебе новый. Скажи, Император не велел. А дети у тебя есть? Ни одного? Это не годится, сразу после смотра дадим тебе отпуск.

Слово «отпуск» поползло по рядам. Легионеры решили стоять насмерть, но кое-кто уже дрогнул. Император продвигался вдоль первой шеренги с удручающей неторопливостью.

— Почему мне так знакомо твое лицо? В Девиатом легионе не служил? Грецию помнишь? И тебя до сих пор не повесили? Полковник, это не дело, я прошу тебя разобраться.

* * *

Второй боевой корабль выбирался сквозь скопище мелких суденышек. В погоне за императорской галерой «Амфитрита» неслась к выходу из гавани.

— Чем ты, дружище, лечишь такой здоровый фурункул?.. Полюбуйтесь-ка на этого парня — вот уж вояка так вояка. И как только тебе удастся держать три таких здоровенных тюка? Звать-то тебя как?

Вдруг раздался оглушительный лязг, и перед Императором стало пусто. Легионер рухнул.

— Я уже говорил, что теперь, когда наследник привел их к Отцу, пора подумать об их отдыхе.

— Цезарь...

— Где тебе глаз-то выбили? Ты уж побереги оставшийся.

Гр-р-рох — отмучился еще один.

На воде горело вытекавшее из складов масло.

Густое облако черного дыма на время скрыло ряды солдат.

* * *

Император доверительно говорил полковнику:

— Ты видишь, как причудливо сплелась здесь трагедия с комедией. Чьи приказы ты будешь выполнять? Эти солдаты должны тушить пожар.

Зрачки полковника на минуту вернулись в нормальное положение.

— У меня приказ, Цезарь.

— Вот и отлично. Ну, дружище, армию любишь? Мужчину она из тебя сделала?

Гр-р-рох.

— Дисциплина, — сказал Император правофланговому, — полезная штука.

— Как понимать тебя, Цезарь?

— Я имел в виду — совершенно необходимая.

Император стоял в конце мола и смотрел на черную от копоти воду гавани. Бесперывным потоком проплывали мимо него опаленные корабли. Оркестр заглушал человеческие голоса, но, судя по искаженным лицам, они кричали о чем-то важном и очень личном. «Амфитрита» и императорская галера прошли мимо почти одновременно.

— Скажи мне, сержант, если я прикажу: «Направо, шагом марш», ты выполнишь мою команду?

Старый сержант с красным обветренным лицом был стреляный воробей, такого на мякине не проведешь. Его добыча, стоившая всего остального барахла на молу, уместилась в маленьком мешочке под нагрудником. Но даже с него пот лил в три ручья.

— В полной выкладке, Цезарь? — На мгновение его глаза, привыкшие есть начальство, метнулись в сторону и вниз. — Я-то с удовольствием.

Взгляд Императора подернулся поволокой — и виной тому были не только дым и пот.

— Генерал! Цезарь! — вырвалось у полковника. Меч в его руках дрожал, на шее вздулись толстые, как ветви старого плюща, вены.

Император понимающе улыбнулся и начал пробираться между шеренгами солдат. Он протиснулся в туннель из громадных тюков, ноздри защекотало от тяжелого спертого воздуха, ряд выпученных, налитых кровью глаз неотрывно смотрел на него слева. Правда, там, где отборные солдаты Постумия лежали в беспамятстве на спинах, дышать было полегче — в

живом коридоре образовались вентиляционные окна. Полковник, Маммилий и Фанокл гуськом пробирались за Императором. В панический гам, повисший над городом, гаванью и кораблями, время от времени врывается громкий лязг — это один за другим падали легионеры.

Боевые корабли исчезали в знойном мареве открытого моря, а маленькие суденышки уже спешили назад. Ход «Амфитриты» замедлился. Как только котел ее разогревало пламенем пожара, она, шлепая лопастями, делала неловкий рывок вперед. Но колеса выбрасывали вверх столько воды, что костер заливало и она постепенно останавливалась. Уморительными скачками двигалась «Амфитрита» — предвидеть, куда она рванется в следующий миг, было выше человеческого разума. Корпус ее погружался в воду все глубже.

Оркестранты играли без передышки.

Гр-р-рох. Гр-р-рох. Гр-р-рох.

Парадным шагом вперед, потом назад, сложные перестроения между редкими рядами легионеров. «На сопках Древнего Рима», «Адриатические волны», «Ведет нас в бой прекрасная

Минерва», «Глади-глади-глади-гладиатор», отрывки из «Симфонии Девятой Героической Когорты» и «Как провожали нас гетеры». Пылали жилые дома, веревки с бельем вспыхивали, словно корабельный такелаж. Вино в складах горело синим пламенем, зерно дымилось и смердело.

— А сейчас, — сказал Император, — я произнесу речь.

Он взобрался на стенку мола и немного постоял, обмахиваясь рукой.

— Ты не хочешь повернуть их ко мне лицом, полковник?

Оркестр уже еле ползал, город горел, «Амфитрита» тонула с шипением и свистом. Горожане карабкались на окружающие холмы. Величественная сцена божественно-бесстрастного разрушения.

Гр-р-рох.

— ...наблюдал за вами с чувством растущей гордости. В нынешние декадентски-упаднические времена вы демонстрируете образцы высшего духа, которыми славен Рим. Приказы выполнять, не рассуждать — в том доблесть ваша.

* * *

Маммилий стоял у подножия стенки и прямо перед собой видел тени Императора и полковника. Одна из них мерно покачивалась.

— Под немилосердно палящим солнцем и шестьюдесятью четырьмя фунтами бронзовых доспехов, держа на плечах нелегкие плоды своих праведных трудов, вы стояли и терпели, потому что таков приказ. Ничего другого мы и не ждали от наших солдат.

Маммилий, попеременно переставляя носки и пятки ног, сдвинулся с места — этому он научился в детстве. Глядя прямо перед собой, он плавно и незаметно перемещался все ближе к туннелю. Вскоре женщины и спасительная тень катапульти скрыли его.

— На ваших глазах горели корабли. Безжалостный огонь пожирал город. Здравый смысл призывал вас тушить пожары. Пошлый и безответственный гуманизм предательски нашептывал, что-де женщины и дети, больные и престарелые ждут вашей помощи. Но вы — сол-

даты, и вы выполняете приказ. Я поздравляю Рим — у него славные защитники.

Маммилий исчез. Женщины живописной группой расположились между солдатами и туннелем. Полковник обнаружил, что не видит ничего, кроме двух мечей, держать их в поле зрения становилось все труднее. Чтобы как-то справиться с ними, он предусмотрительно поддержал левой рукой запястье правой.

Император напомнил солдатам о славной истории Рима.

Ромул и Рем.

Гр-р-рох.

Манлий Капитолийский, Гораций Коклес и Знаменосец IX легиона.

Император в общих чертах обрисовал основные этапы римских завоеваний, подробно остановился на многочисленных подвигах римского войска. Коснулся истории Греции и ее упадка; не забыл упомянуть о праздности египтян.

Гр-р-рох. Гр-р-рох.

Неожиданно полковник исчез со стенки гавани. В море за спиной Императора что-то смачно чавкнуло — и все. Тяжелы вы, доспехи полковника.

Император говорил о воинских доблестях.
Гр-р-рох.

Из тумана в полумиле от гавани вновь появилась императорская галера. Направляясь ко входу в гавань, она уже едва шевелила веслами.

Гордость легиона.

Гр-р-рох.

Честь легиона.

Наступила кульминация. У самых ног Императора, там, где только что упали трое легионеров, все и началось. Волна тошнотворного запаха накрыла парад, и некогда стройные ряды разом провалились в спасительное забытие. Дальняя часть мола была завалена беспомощными телами солдат и музыкантов — последние не слышали уже ничего, кроме биения собственных преданных сердец. Император с сочувствием посмотрел на них:

— Самосохранение.

Маммилий и императорская стража вырвались из туннеля. Их было около двух дюжин — здоровых мужчин, отдохнувших в прохладе тенистого сада и готовых теперь учинить неболь-

шое бодрящее зверство. Маммилий размахивал мечом, распевал партию хора из трагедии «Семеро против Фив» — одну из тех, от которых кровь стынет в жилах, — и пытался бежать в такт мелодии. В тот же миг императорская галера гулко стукнулась бортом о причал. Грязный, раскосмаченный Постумий выбрался на берег, kloкоча от гнева. Стража Императора сломала строй, подбежала к Постумию и схватила его. Он отбросил двоих и, рыча, как зверь, прыгнул с обнаженным мечом на Маммилия. Маммилий замер на месте, сжал руки, стиснул коленки, выпятил подбородок. С греческого языка он перешел на родной:

— Рах!..*

Постумий занес меч над головой Маммилия. Император закрыл глаза. Услышав звук, похожий на удар гонга, он открыл их снова. Постумий пытался скинуть с себя ораву насевших на него солдат. Маммилий кружился на месте, пытаясь сдернуть шлем, но не тут-то

* Рах (лат.) — мир. Не исключено, что Маммилий хотел сказать одну из следующих латинских фраз: «Рах deorum» («Благоговение богов»), «Рах teus» («Мир с тобой») или же «Рах hominibus bonae voluntatis» («Мир людям доброй воли»). — *Примеч. пер.*

было: голова его теперь сидела в нем прочно, по уши.

— Ты, Постумий, грубиян и невежа, дурно воспитанный человек, вот ты кто. У меня теперь разболится голова.

Император спустился со стенки мола.

— Что за человека привез с собой Постумий в галере?

Начальник стражи застыл в приветствии.

— Пленника, Цезарь. Судя по виду, раба.

Пальцем одной руки Император постучал по ладони другой.

— Законного наследника и раба проводите через туннель. Двое твоих людей поведут досточтимого Маммилия. Сейчас не время вытаскивать его из шлема. Уважаемые дамы, демонстрация окончена. Вы можете вернуться на виллу.

Он остановился у катапульты и оглянулся. Словно обитатели морского дна во время отлива, на молу слабо шевелились почетный караул и оркестр.

— Шестеро твоих людей должны удерживать туннель во что бы то ни стало. Пусть никого не пропускают без твоего приказа.

— Слушаюсь, Цезарь.

— Остальных можешь разместить в саду. Чтобы не маячили на виду, спрячь их в кустах. Выполняй.

— Слушаюсь, Цезарь.

Сад был по-прежнему тих и спокоен. Император стоял у пруда с лилиями и с наслаждением вдыхал ароматный воздух. Внизу кое-где снова проступала гладь моря. Выровняв дыхание, он повернулся к небольшой группе мужчин.

— Постумий, ты обещаешь вести себя прилично, если я прикажу страже отпустить тебя?

Постумий посмотрел на черную пасть туннеля. Император, поймав его взгляд, покачал головой:

— Выбрось из головы надежду вырваться через туннель. У стражи есть приказ. Оставь! Давай обсудим все спокойно.

Постумий стряхнул с себя охранников.

— Что ты сделал с моими солдатами, колдун?

— Проверка, Постумий, обычная проверка. Я только растянул ее во времени.

Постумий потянулся за шлемом и надел его. Ало-золотистое перо кое-где обгорело.

— Что меня ждет?

Император скривил губы в улыбке:

— Посмотри на Маммилия. Ты можешь представить его в роли Императора?

Маммилий лежал на животе поперек каменной скамейки. Двое солдат держали его за ноги. Третий силился стянуть с него сплюснутый шлем.

— Информация агента точна и обстоятельна.

Император согнул палец:

— Фанокл.

— Я здесь, Цезарь.

— Раз и навсегда объясни законному наследнику, чем ты занимался.

— Я уже говорил ему, Цезарь. Ни рабов, ни войн.

Постумий презрительно ухмыльнулся:

— Пусть приведут пойманного мной раба. Он один из тех, кто сжег твой корабль.

Двое солдат вывели раба — они заломили ему руки, от чего тот согнулся в три погибели. Раб был все еще гол, хотя успел обсохнуть. Этому темнокожему бородатому детине ничего не стоило бы разорвать льва голыми руками.

Император смерил его взглядом:

— Кто он?

Солдат схватил раба за волосы, поворачивая ему голову из стороны в сторону, потом рванул резко вверх — раб сморщился от боли. Постумий наклонился рассмотреть метки на ушах. После его кивка солдат отпустил голову пленника.

— Зачем ты это сделал?

Раб отвечал хриплым и неровным голосом отвыкшего говорить человека:

— Я гребец.

Брови Императора поползли вверх.

— Придется приковывать гребцов к веслам, если это, конечно, не потребует больших дополнительных расходов.

Раб попытался всплеснуть руками.

— Будь милостив, Цезарь. Мы не смогли убить этого человека.

— Кого, Фанокла?

— У него бдительный гений. Доска убила раба, который стоял рядом. Краб тоже пролетел мимо.

Раздался пронзительный визг — досточтимого Маммилия наконец вытащили из шлема. Он тоже поспешил к Императору.

— Маммилий, краб предназначался не тебе!

Маммилий в волнении повернулся к рабу:

— Значит, ты не хотел меня убить?

— А зачем нам тебя убивать? Ты изнурял нас работой, так это твое право. Для того нас и купили. Но этот человек совсем нас не использовал. Мы видели, как его корабль плыл без гребцов и парусов против ветра. Что ж мы, гребцы, теперь совсем не нужны?

Фанокл закричал:

— Мой корабль сделал бы вас свободными людьми!

Император задумчиво разглядывал раба.

— Ты доволен своей участью гребца на триреме?

— Боги знают, как мы страдаем.

— Так в чем же дело?

Раб задумался. Когда он снова заговорил, слова его потекли как что-то заученное в очень далеком прошлом:

— Лучше быть рабом у последнего трюмного, чем правителем над теньями в аду.

— Понятно. — Император кивнул солдатам: — Уведите.

Постумий издал противный смешок.

— Ты видишь, грек, что думает о твоем корабле профессиональный мореход!

Император возвысил голос:

— Не спеши. Послушаем, что скажет о гром-
машине профессиональный солдат. Начальник
стражи!

Но начальник стражи уже отдавал Импера-
тору честь.

— Прости меня, Император, но госпожа...

— Какая госпожа?

— Они не пропускают ее без моего разре-
шения, Цезарь.

Маммилий закричал срывающимся го-
лосом:

— Евфросиния!

Начальник стражи повернулся к солдатам:

— Госпожу пропустить. Шевелитесь, ребята!

Солдаты у входа расступились, и Евфроси-
ния, съжившись, подошла к Фаноклу и Им-
ператору.

— Где ты была, дитя мое? Почему ты не по-
шла с остальными? На молу без меня опасно!

Но и на сей раз она промолчала, лишь по-
крывало у рта колыхалось от прерывистого ды-
хания. Император жестом подозвал ее к себе.

— Стань около меня. Теперь тебе ничто не
угрожает. — Он снова обратился к начальнику
стражи: — Начальник стражи!

— Слушаю, Цезарь!

— Вольно. Постумий, задавай свои вопросы.

Постумий оглядел его внимательно.

— Капитан, ты хотел бы драться на войне?

— Для защиты Отца Отечества...

Император махнул рукой:

— В твоей верности никто не сомневается.

Отвечай, пожалуйста, по существу.

Капитан задумался.

— В общем, да, Цезарь.

— Почему?

— Все-таки что-то новенькое, Цезарь. Душевный подъем, продвижение по службе, а может, и хорошие трофеи... ну и так далее.

— А ты хотел бы поражать своих врагов на расстоянии?

— Не понимаю.

Постумий наставил палец на Фанокла:

— Этот плюгавый грек сделал новое оружие, ты его видел на молу. Жмешь на пипку — и врагу конец.

Капитан размышлял.

— Значит, Отцу Отечества больше не нужны его солдаты?

Постумий выразительно посмотрел на капитана:

— Ему уж точно нет. А вот мне нужны.

— А что, если враг займет собственную гром-машину?

Постумий обернулся к Фаноклу:

— Броня защитит?

— Едва ли.

Император легонько дернул Маммилия за алый плащ.

— Предвижу, что такой военной формы вам больше не носить. Грядущие войны вы проползаете на брюхе. И форма ваша будет цвета грязи или коровьего дерьма...

Начальник стражи опустил глаза на свой блестящий бронзовый нагрудник.

— ...а металлические доспехи можно будет выкрасить в неброский цвет или оставить так, как есть, — сами выпачкаются в грязи.

Офицер побледнел:

— Ты шутишь, Цезарь.

— Сам видел, что натворил его корабль в гавани.

Начальник стражи отступил назад. Челюсть его отвисла. Он дышал часто, словно человек, которому привиделся жуткий кошмар. Потом стал озираться по сторонам, взгляд его блуждал по кустам, каменным скамьям, солдатам, загораживающим вход в туннель...

Постумий вышел вперед и схватил его за руку:

— Ну что, капитан?

Глаза их встретились. Лицо капитана обрело решимость: челюсти стиснуты, на щеках обозначились тугие желваки.

— А остальных берешь на себя, генерал?

Постумий кивнул.

И началось. Сквозь живописную группу жестикулирующих фигур, сквозь оцепление человеческих тел, что пытались сохранить равновесие, балансируя на берегу пруда, над невозмутимыми белыми лилиями летел от кулака Постумия Фанокл. Начальник стражи побежал к туннелю, следом за ним загромыхал Постумий. Офицер прокричал слова команды, и защитники туннеля — раз, два! раз, два! — дружно отступили, раскрывая дверь в живой стене. Беглецы исчезли в черной дыре, часовые продолжали стоять по стойке «смирно». Из кучи тел на берегу пруда по одному выбирались солдаты. Маммилий — между ним и туннелем лежал пруд — метался из стороны в сторону, от испуга он никак не мог найти кратчайшую дорогу к беглецам. Один Император был безмолвен и спокоен, разве только стал чуточку бледнее и

немного отрешеннее — он понимал неотвратимость краха и нависшей над ним смерти. Вскоре солдаты привели себя в порядок, Фанокл выбрался из пруда, Маммилий после мучительных колебаний преодолел его вброд. Все еще не веря в предательство начальника стражи, собрались они у входа в туннель. К ним подошел Император. Он задумчиво вглядывался в живую стену, которую дисциплина привела в полнейшую негодность. Потом едва заметно пожал плечами.

Мягко, словно говоря с детьми, произнес:
— Теперь можно стоять вольно.

Неожиданно их качнуло тугой струей воздуха. Почти одновременно земля под ногами заходила ходуном, на голову, как кулак, обрушился резкий удар звука. Император повернулся к Маммилию:

— Гроза? Везувий?

За мысом, разделяющим сад и порт, завывало, вой приближался, рядом оглушительно грохнуло, в ветвях тиса зашелестело и зашепта-ло. Потрясение притупило в них чувство опасности, и они лишь ошарашенно переглядывались. Фанокла била дрожь. В туннеле раздались топчливые шаги, кто-то бежал, спотыкаясь и

падаая. Прямо на них выскочил солдат, ало-золотистые тона его формы выдавали в нем подчиненного Постумия.

— Цезарь...

— Возьми себя в руки, а потом докладывай.

— Он умер...

— Кто умер и как это случилось?

Солдат качнулся, но на ногах устоял.

— Не знаю, как сказать тебе, Цезарь. Мы становились в строй после... после смотра. Из туннеля выбежал генерал Постумий. Он увидел, что несколько солдат тушат пожар, и начал созывать остальных. С ним бежал один из твоих офицеров. Я видел, как он нагнулся у катапульты номер семь. Сверкнула молния, загрохотал гром...

— ...и в молу образовалась дымящаяся дыра. Где Постумий?

Солдат недоуменно развел руками. Фанокл упал на колени, стараясь дотянуться рукой до края императорской тоги. Солдат теперь смотрел мимо Императора на ближайшие заросли тиса, которые отгораживали пруд от уходящих вверх террас сада. Глаза его округлились. Он взвыл и бросился бежать.

— Колдовство!

За ним наблюдал Постумий, не мог не наблюдать — над стеной тиса красовался его бронзовый шлем с ало-золотистым пером. Он, видимо, варил себе какую-то еду, от обычного летнего зноя воздух над шлемом не мог дрожать с такой силой. На их глазах перо постепенно темнело и обугливалось. Ветки тиса прогибались, скручивались от жары в завитки и наконец не выдержали. Шлем накренился, лег на бок — он был пуст.

— Иди сюда, дружище.

Солдат выполз из кустов.

— На твоих глазах Громовержец уничтожил генерала Постумия за непростительный грех неповиновения Императору. Иди и скажи остальным. — Император повернулся к Фаноклу: — Попытайся спасти что еще возможно. Ты в большом долгу перед человечеством. Ступай с ними, Маммилий, теперь ты за все отвечаешь. Там, за туннелем, перед тобой открываются новые возможности. Будь их достоин.

Шаги гулко отозвались в туннеле и замерли в отдалении.

— Подойди ко мне, дитя мое.

Он сел на каменную скамью у пруда.

— Стань передо мной.

Она подошла и стала. Прежней грации в ее движениях уже не было.

— Отдай это мне.

Задрапированная фигура стояла молча. Император не произнес больше ни слова. Он лишь величаво протянул руку — этого было достаточно.

Она сунула вещьцу ему в руку и испуганно поднесла сжатый кулачок к закрытому покрывалом лицу. Император задумчиво смотрел на свою ладонь.

— Кажется, моим спасением я обязан тебе. Впрочем, Постумий, наверное, правил бы империей лучше меня. Дитя мое, я должен увидеть твоё лицо.

Евфросиния продолжала стоять молча. Император испытующе посмотрел на нее, потом кивнул, словно они о чем-то договорились.

— Я понимаю.

Он встал, обошел пруд и посмотрел поверх утеса на уже видимые волны.

— Пусть это останется еще одной неразгаданной страницей истории.

И он швырнул бронзовую бабочку в море.

IV. Дипломатическая миссия

Император и Фанокл возлежали друг против друга по разные стороны низкого стола. Стол, пол и зала были круглыми, на обступивших залу колоннах покоился затемненный купол. В отверстии купола, прямо над их головами, висело мерцающее созвездие, спрятанные за колоннами светильники разливали по зале мягкий и теплый свет, который располагает к отдыху и улучшает пищеварение. Невдалеке задумчиво пела флейта.

— Так ты думаешь, она будет работать?

— Почему же нет, Цезарь?

— Станный ты человек. Все размышляешь о всеобщем законе, а получаешь вполне осязаемые результаты. Зря я сомневаюсь. Мне надо набраться терпения.

Они немного помолчали. Голос кастрата поддержал напев флейты.

— Фанокл, что делал Маммилий, когда ты оставил его?

— Отдавал приказ за приказом.

— Вот и отлично.

— Приказы все до одного неправильные, но люди ему повиновались.

— В том-то и секрет. Это будет ужас, а не Император. Калигулу он переплюнет, а вот Нерона превзойти — таланта не хватит.

— Он очень гордился вмятиной на своем шлеме. Говорил, что открыл в себе человека действия.

— Значит, прощай, поэзия. Бедный Маммилий.

— Нет, Цезарь. Он сказал, что действие родило в нем поэта и что именно в бою он сочинил совершенное произведение.

— Надеюсь, не эпопею?

— Эпиграмму, Цезарь. «Евфросиния красива, но глупа и молчалива».

Император кивнул с серьезным видом:

— Но мы-то с тобой знаем, что ее уму и сообразительности может позавидовать любая женщина.

Фанокл от неожиданности чуть приподнялся:

— А тебе, Цезарь, откуда это известно?

Император задумчиво катал пальцами виноградину по столу.

— Я, конечно, женюсь на ней. Не раскрывай, Фанокл, рот и не бойся, что я велю тебя удавить, когда увижу ее лицо. В моем возрасте

наш союз, увы, будет только называться браком. Но ей он принесет безопасность и относительный покой, да и убережет от посторонних глаз. Ведь ты не будешь отрицать, что у нее заячья губа?

Кровь бросилась в лицо Фаноклу, казалось, он задохнется — глаза его выкатились из орбит. Император погрозил ему пальцем:

— Только молодой идиот вроде Маммилия мог болезненную стеснительность принять за благонравную скромность. С высоты моего опыта и в надежде, что нас не услышит ни одна женщина, я по секрету скажу тебе: скромность придумали мы, мужчины. Как знать, не нами ли выдуманно и целомудрие? Ни одна красивая женщина не будет так долго скрывать свое лицо, если оно не обезображено.

— Я не смел сказать тебе.

— Ты думал, что я принимаю тебя ради нее? Увы, ради Маммилия и его романтической любви. Персей и Андромеда! Как он возненавидит меня! Мне не следовало забывать, что обычные человеческие отношения — непозволительная роскошь для Императора.

— Мне очень жаль...

— И мне тоже, Фанокл, и не только себя. Тебе никогда не хотелось обратить свет своего могучего разума на медицину?

— Нет, Цезарь.

— Сказать тебе — почему?

— Я слушаю.

Ясные, спокойные слова Императора падали в тишину залы, словно маленькие камешки:

— Я уже говорил, что ты высокомерный человек. Но ты еще и эгоист. Ты одинок в своей вселенной с ее естественными законами, люди для тебя — помеха и докуча. Я сам одинокий эгоист с той лишь разницей, что признаю за людьми право на некоторую независимость. Эх вы, натурфилософы! Интересно, много ли вас? Ваш упрямый и ограниченный эгоизм, ваше царственное увлечение единственным полюбившимся предметом могут когда-нибудь подвести мир к такой черте, за которой жизнь на земле можно будет стереть с той же легкостью, с какой я стираю восковой налет с этой виноградины. — Ноздри Императора трепетали. — А теперь тишина. Несут форель.

И для этого события был свой ритуал — вошел дворецкий, за ним слуги, все двигалось в

заученном порядке. Император сам нарушил тишину:

— Может быть, ты слишком молод? Или, как и я, перечитывая однажды понравившуюся книгу, половину удовольствия получаешь от воскрешения той поры, когда прочитал ее впервые? Вот видишь, Фанокл, какой я эгоист. Читай я сейчас эклоги, я не уносился бы душой в римскую Аркадию, а снова стал бы мальчишкой, который готовит урок к следующему занятию.

Фанокл постепенно приходил в себя.

— Мало ты получаешь от чтения, Цезарь.

— Ты думаешь? Конечно, мы, эгоисты, всю историю человечества вмещаем в собственную жизнь. Каждый из нас заново открывает пирамиды. Пространство, время, жизнь — то, что я назвал бы четырехмерным континуумом... Ах, как же мало латинский язык пригоден для философии! Жизнь — феномен сугубо личный, с единственной фиксированной точкой отсчета. Александр Македонский начал вести свои войны только после того, как я открыл его в свои семь лет. Когда я был ребенком, время было мгновением, простой точкой, но голосом и обонянием, вкусом и зрением, движением и слу-

хом я превратил эту ничтожную точку в роскошные дворцы истории и безбрежные дали пространства.

— Я снова не понимаю тебя, Цезарь.

— А надо, ибо речь идет о том, что испытываем мы оба: и ты, и я. Но чтобы понимать это, тебе не хватает моей интровертности — или лучше сказать, себялюбия? — обрати внимание, как любит Император вводные предложения, когда его никто не перебивает! Думай, Фанокл! Ах, если бы ты мог не аппетит мой возвратить, а воскресить во мне хотя бы одно дорогое воспоминание! Чем, как не предвосхищением и памятью, наше человеческое мгновение отличается от слепого бега природного времени?

Фанокл взглянул на созвездие, которое сверкало так близко, что, казалось, обрело третье измерение, но, прежде чем он собрался с мыслями, чтобы ответить Императору, блюда уже были на столе. Подняли крышки, и над столом заструился сладковатый пар. Император закрыл глаза, наклонил голову и втянул в себя воздух.

— Та-ак? — И с глубоким волнением: — Так!

Голодный Фанокл быстро съел свою форель и с нетерпением ждал, когда Император пред-

ложит ему вина. Но Император ничего не видел и не слышал. Губы его шевелились, лицо то бледнело, то заливалось краской.

— Свежо. Сияющая гладь воды, тени и водопады с высоких мрачных утесов... Снова все перед глазами. Я лежу, едва уместаясь на каменном уступе. Надо мной вздымаются скалы, рядом журчит река, вода в ней темна даже на солнце. Два голубя воркуют монотонно и певуче. Острый камень вонзился в правый бок, но я неподвижно лежу лицом вниз, и лишь правая рука движется медленно, словно улитка. Я прикасаюсь к чуду сиюминутной реальности, рука ласкает воду — о, каким пронзительно и жаростно живым я себя ощущаю! — еще миг, и мой неистовый восторг найдет выход в исступленном движении. Но я усмиряю мой азарт, мое желание, мой трепет — воля уравнивает страсть. Рука нетороплива, как трава в тихой воде. Вожделенная добыча лежит там, в темноте, вода струится, обтекая ее гибкое тело. Пора! Судорожное напряжение тел, чувство ужаса и невыразимой тоски — она взлетает на воздух, и я держу ее мертвой хваткой. Вот она, она моя...

Император открыл глаза и посмотрел на Фанокла. Слеза ползла по его щеке прямо над нетронутой рыбой.

— ...моя первая форель. — Он схватил чашу, пролив несколько капель на пол, и протянул ее Фаноклу. Император овладел собой и тихо засмеялся: — Ну как же мне наградить тебя?

— Цезарь! — Фанокл поперхнулся и с трудом выдавил из себя: — Моя взрывчатка...

— О пароходе я не говорю. Забавная штука, но очень уж дорогая. Признаюсь, что экспериментатор во мне с интересом следил за его чудовищной работой, но одного раза вполне достаточно. Пароходов больше не надо.

— Но, Цезарь!

— И потом, без ветра ты заблудишься в море.

— Я могу изобрести прибор, который постоянно указывает одно направление.

— Разумеется, изобрети его. Может быть, ты изобретешь подвижную стрелку, которая постоянно указывает на Рим.

— Нет, только на север.

— Но пароходов больше не надо.

— Я...

Император взмахнул рукой:

— Такова наша имперская воля, Фанокл.

— Я повинуюсь.

— Слишком уж они опасны.

— Как знать, Цезарь, может, придет день, когда люди перестанут считать себя рабами, а значит, обретут свободу...

Император покачал головой:

— В твоей работе ты имеешь дело с идеальными элементами, и отсюда твой политический идеализм. Рабы будут всегда, хотя называть их, возможно, будут иначе. Что такое рабство, как не подчинение слабого сильным? Не в твоей воле упразднить неравенство. Ведь не настолько же ты глуп, чтобы верить, что все мы рождаемся равными? — Неожиданно лицо его приняло серьезное выражение. — А что касается твоей взрывчатки, то сегодня она спасла меня и, следовательно, покой империи. Но она же лишила империю безжалостного правителя, который умертвил бы полдюжины людей, но справедливо правил бы сотней миллионов. Так что мир проиграл. Нет, Фанокл, пусть уж Юпитер сам неисповедимо правит своими громами и молниями.

— Но это же величайшие мои изобретения!

Первая форель, к которой Император так и не притронулся, исчезла с его блюда. Появи-

лась другая, и он снова окунул свое лицо в сладковатый пар.

— Сковарка. Я непременно вознагражу тебя за нее.

— Тогда как же, Цезарь, ты наградишь меня за вот это?

— За что?

— За мое третье изобретение, которое я хранил про запас...

Фанокл медленным театральным жестом опустил руку к поясу. Император с интересом следил за ним.

— Это как-то связано с громом?

— Только с тишиной.

Император нахмурился. Он держал по листу бумаги в обеих руках и переводил взгляд с одного на другой.

— Стихотворения? Так, значит, ты поэт?

— Нет, их сочинил Маммиллий.

— Я мог бы догадаться. Софокл, Каркид — ничего не скажешь, хорошо начитанный юноша!

— Это прославит его. Прочитай другое стихотворение, Цезарь. Оно точная копия первого. Я изобрел способ размножения книг. Я называю его печатанием.

— Но ведь это... это еще одна сковарка!

— За один вечер взрослый мужчина с подмастерьем смогут сделать тысячу экземпляров книг.

Император оторвал взгляд от бумаг:

— Так мы сможем выпустить сто тысяч экземпляров Гомера!

— Миллион, если захотим.

— Прекратятся стенания поэтов, у которых нет слушателей...

— И денег. Никаких рабов-переписчиков. Поэты, Цезарь, начнут продавать свои стихи мешками, как овощи. Последняя судомойка утешится величием нашей афинской драмы.

В волнении Император сел.

— Подумать только, своя публичная библиотека в каждом городе!

— И в каждом доме.

— Десять тысяч экземпляров любовной лирики Катулла...

— Сто тысяч книг Маммилия...

— Гесиод придет в каждый сельский дом...

— На каждой улице будет свой писатель...

— Горы исчерпывающих данных и лавина информации по любому предмету...

— Знания и образование в массы...

Император снова лег.

— Постой. А нам хватит гениев? Часто ли рождаются Горации?

— Пустое, Цезарь. Природа изобильна.

— Ну а если мы все начнем писать книги?

— Почему бы и нет? Интересные биографии...

Император напряженно всматривался в запредельное — он смотрел в будущее.

— «Дневник провинциального губернатора», «Как я строил стену Адриана», «Моя жизнь в обществе. Сочинение многоопытной дамы».

— А ученые труды?

— «Пятьдесят интерполированных поправок к Морскому регистру», «Метрические инновации в мимиямбах Геронда», «Сублимированный символизм первой книги Евклида», «Прологомены к исследованию остаточных тривиумов».

В глазах Императора мелькнул ужас.

— История — «По следам Фукидида», «Воспоминания бабушки Нерона».

Фанокл сел и радостно захлопал в ладоши:

— Не забудь отчеты и проблемные записки, Цезарь!

Ужас в глазах Императора рос.

— Военные, страноведческие, санитарные, евгенические — все придется читать! Политические, экономические, пастушеские, огороднические, приватные, статистические, медицинские...

Император, шатаясь, поднялся на ноги. Он воздел руки к небу, закрыл глаза, лицо его исказила гримаса отчаяния.

— Почему кастрат не поет?

Голос зазвучал уверенно и бесстрастно.

Император открыл глаза. Быстрым шагом он подошел к одной из колонн и, постепенно приходя в себя, принялся похлопывать ладонью по камню. Потом поднял голову и долго смотрел на мерцающее созвездие, висевшее в хрустальных сферах. Мало-помалу он успокоился, хотя все еще изредка вздрагивал. Наконец он повернулся и внимательно посмотрел на Фанокла:

— Итак, мы говорили о твоей награде.

— Я во власти Цезаря.

Император приблизился к Фаноклу и спросил дрогнувшим голосом:

— Ты хотел бы стать послом?

— Даже в самых смелых снах я никогда...

— Тогда у тебя будет предостаточно времени, чтобы изобрести прибор, указывающий на север. Кстати, взрывчатку и машину для печатания можешь взять с собой. Я тебя сделаю чрезвычайным и полномочным послом. — И, помолчав, добавил: — Фанокл, друг мой, я хочу, чтобы ты поехал в Китай.

•

СОДЕРЖАНИЕ

Бог-Скорпион	5
Клонк-клонк	107
Чрезвычайный посол	201

Любое использование материала данной книги,
полностью или частично, без разрешения
правообладателя запрещается.

Литературно-художественное издание

Голдинг Уильям
Бог-скорпион
Клонк-клонк
Чрезвычайный посол

Новеллы

Компьютерная верстка: Н.Г. Суворова
Технический редактор Ю.И. Миронова

Общероссийский классификатор продукции
ОК-005-93, том 2; 953000 — книги, брошюры

ООО «Издательство АСТ»

141100, Россия, Московская обл., г. Щелково, ул. Заречная, д. 96
Наши электронные адреса: WWW.AST.RU E-mail: astpub@aha.ru

Широкий ассортимент электронных и аудиокниг
ИГ АСТ Вы можете найти на сайте www.elkniga.ru

ООО «Издательство «Астрель»

129085, г. Москва, пр-д Олимпийского, д. 3а

Отпечатано в полном соответствии с качеством
предоставленных диапозитивов в ОАО «Издательско-
полиграфическое предприятие «Правда Севера».
163002, г. Архангельск, пр. Новгородский, 32.

Тел./факс (8182) 64-14-54, тел.: (8182) 65-37-65, 65-38-78, 20-50-52
www.ippps.ru, e-mail: zakaz@ippps.ru